

УРАЛЬСКИЙ

ISSN 0134-241X

Следопыты

3 '87



УРАЛМАШЕВЦЕ, СЫН УРАЛМАШЕВЦЕВ

Андрей Грамолин

На снимке: Павел Ратников



Я встретился с Павлом Ратниковым в субботу.

Шел дождь со снегом. На площади Первой пятилетки гремела музыка. Возле проходной Уралмаша толпились парни и девушки. Им не хотелось расходиться — жар веселого общего дела еще не успел остыть.

На втором этаже заводоуправления, в комитете комсомола, было оживленно: комсорги сообщали, кто и как поработал на субботнике. Павел сидел в комнате заместителя комсомольского секретаря Володи Порунова и, пристроив блокнотик на колени, что-то быстро писал.

— Привет,— сказал он мне и, уже не отрываясь от блокнотика, продолжал: — Понимаешь, администрация нескольких цехов не подготовила фронт работ, пришлось ребятам полы подметать. Безобразие! Немедленно поставим вопрос перед генеральной дирекцией.

Резко зазвонил телефон. «Скоро, скоро приду»,— улыбнулся кому-то Павел.

— Знаешь, чего мы ждем от съезда! Прежде всего откровенного разговора о том, что беспокоит и что обнаддеживает в нашем Союзе. Молодежи по плечу любая задача любого масштаба. Вспомним хотя бы, кто в тридцатых задавал тон на строительстве Уралмаша!.. Жажда действия — вот что важно, вот где суть. А доверие всегда окрыляет. Впрочем, давай-ка заглянем на МЖК, а то я у них пару недель не был.

Вышли на площадь. У гранитного обелиска первому директору Уралмаша Банникову лежали красные гвоздики.

Мы шагали по улицам соцгорода, в котором родился и вырос Павел, уралмашевец, сын уралмашевцев. Почти шестьдесят лет назад, прослышав о грандиозной стройке, пришел сюда из глухой деревни его дед по матери Алексей Иванович Воронцов. А когда наступила пора выбирать Павлу, сомнений не было: его тоже ждал завод. И вот восемь лет он начинает рабочую смену в своей комсомольско-молодежной бригаде слесарей-сборщиков и твердо уверен: интересней этого дела для него нет.

...В штабе МЖК нас угощали круто заваренным чаем, с планшетов глядели проекты близкого будущего молодежного жилого комплекса: шестнадцатизэтажные дома оригинальной архитектуры, детский игровой центр, вечерний клуб. И мы бы еще долго говорили о самостоятельности и жажде действия, спорили о путях и целях, но загустели за окнами сумерки, и Павел заторопился: вечером обещал проводить шестилетнюю дочку во Дворец культуры, где Катюша занимается в танцевальном ансамбле.

Мы попрощались на остановке. Павел махнул рукой, двери захлопнулись, и троллейбус, шуруша по мокрому асфальту, исчез в темноте.

Заканчивалась очередная суббота члена бюро ЦК ВЛКСМ, слесаря Павла Ратникова.

УРАЛЬСКИЙ

Следопыт



3 '87

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ

В НОМЕРЕ:

- 2/ О. Никонов
ЦЕЛИННЫЙ БАТАЛЬОН. ПОБРАТИМЫ
- 4/ Л. Юзefович
КОНТРИБУЦИЯ. Повесть. Начало
- 25/ Н. Юшкин
ХРУСТАЛЬНЫЙ ЖАР БРОНЗОВОГО ВЕКА
- 26/ С. Соколкин, С. Яницкая, И. Сахновский
...ПАМЯТЬЮ, КАК ПОРОХОМ, ПРОПИТАН. Стихи
- 28/ М. Малахов
ДОРОГА ВО ТЬМЕ
- 32/ В. Кандыба
ДАЛЬНИМ ВОСТОКОМ ПРИЗВАННЫЙ
- 33/ В. Жилин
ДЕНЬ СВЕРШЕНИЙ. Повесть. Окончание
- 50/ И. Непеин
ЖИЗНЬ ГРАЖДАНИНА ОЧЕРА
- 56/ А. Турусова
КУДА УХОДИТ САМОВАР. ЦВЕТ ПОЛЫНИ. Рассказы
- 68/ Л. Богоявленский
ПОЭМА О РАПСЕ
- 70/ В. Миронов
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ГОДА. Март
- 73/ Л. Данилов
В ТЕНИ ЭДИСОНА
- 74/ СЕРГЕЙ МАКСИМОВ — КЛОУН МАКС:
«...ВСЕ ЭТО И ЕСТЬ ЦИРКИ!»
- 78/ МИР НА ЛАДОНИ
- 80/ И. Горячев
ЗАЧЕМ ЕРМАК СПОРТСМЕНУ!

На 1-й стр. обложки рисунок Сергея Малышева

ИЗДАЕТСЯ
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

© «Уральский следопыт», 1987 г.



Олег НИКОНОВ

ЦЕЛИННЫЙ БАТАЛЬОН

В тот год на паровом поле стояла отборнейшая пшеница. Лучшая в Брюховецком районе, а может, и во всем крае. Моторы комбайнов завывали натужно, «со слезой», пришлось идти на первой пониженной — таким «монотонитом» поднялась пшеница.

Комбайн Василия Котова прошел полтора десятка метров — бункер был полон. Копильщик Леша Золотарев взобрался наверх, воткнул в бункер лопату, чтоб видно было водителям, где можно забрать зерно.

Снизу, из распадка, выполз темно-зеленый с красной звездой на дверце военный автомобиль. Водитель, рядовой Николай Булдашов, вырлил на стерню, приглушил мотор. По небу пронеслась низом лохматая перьяшная туча. Котов посмотрел на нее удивленно. За первой еще ниже и еще быстрее промчалась вторая, и ослепительно синее небо неожиданно посерело. Как все изменилось! В считанные секунды. Потом сбоку оглушительно ударил разряд — будто орудие рывкнуло, — и длинная в рогах веток молния стеганула по макушкам стеблей, потянувшись к комбайну, но не достала, выдохлась.

В лицо Котову хлынула упругая теплая волна воздуха, потянуло серой. Над крошкой пшеничных стеблей легкой косынкой взметнулось почти прозрачное пламя. Взметнулось и тут же спало, будто спряталось.

— Солдат! Пшеница горит!

— Ты что?

Огонь вновь взметнулся в самом центре поля и, не таясь уже, пошел полыхать по верхушкам, стричь колосья.

...Космонавты восторженно рассказывают о хлебных полях нашей Родины. Море хлеба! На сотни тысяч километров расплескиваются его золотые волны. Начинаясь от Брестского бастиона, легкие хлебные корни оплетают осколки своих и чужих снарядов, нива стелется на северном крае прохладными овсами вплоть до Белого моря. Буйными позлащенными пшеницами она волнуется на Украине, Северном Кавказе, в Заволжье. Льет в казахстанскую степь, а там — к Алтаю, Тянь-Шаню. Через Уральский хребет где рожью, где ячменем прорастает в Сибирь, обнимает Байкал, трогая Амур и Уссури.

От океана до океана простирается нива, распадаясь только для того, чтобы дать место жилью, заводам, дорогам. На одном конце ее ночь, на другом — полуденный свет. В одном краю чуть зеленеет, в другом — зерно уже созрело. И от края до края ниву холят и лелеют люди, не дают упасть, когда слаба, поднимают с земли, когда тучен колос и не держит сам себя.

Большое поле — большие заботы.

...Булдашов рывнул с борта машины огнетушитель. Копильщику кинул лопату:

— Быстрее!

У комбайна он задержался, скомандовал Котову вмиг осиншим, будто отсыревшим голосом:

— Гоги к нам в батальон! За помощью!

...Истинные хлеборобы говорят: счастье людское из земли растет. Какого же высокого трудового подвига требует каждый центнер этого счастья! Еще со школьных уроков ботаники каждому известно, что, прежде чем посеять семена, почву необходимо обработать: вспахать или пролущить, пробороновать, прокультивировать и т. д.

В посевную и в страду хлеборобские сутки становятся бессрочными. Агрономические законы обретают силу боевого приказа. Ведь для будущего урожая важно все: и каким способом — узкорядным, перекрестным или перекрестно-диагональным — обработано поле, и нормы высева, и глубина заделки обычных и озимых семян, и, что особенно важно, сроки посева, какой техникой, количеством людей.

Страда — это когда день и ночь сливаются воедино, когда работа под полуденным слепящим небом, работа до полуночной росы, короткий сон — и снова ослепительная желтизна вызревшего хлеба перед глазами, пот и пыль. Видимо, само слово «страда» и родилось потому, что урожай всегда выстрадан и всегда его приходится отвоевывать у поля и у погоды. Недаром жатву называют еще и битвой за хлеб. И тут не только чисто военное схождение, идущее от привлечения огромных масс техники, от круглосуточного горячего дела. С первых лет рождения Советского государства в битве за хлеб в той или иной степени всегда и постоянно принимала участие и армия. Самая миролюбивая, созданная для защиты труда, она священным долгом своим считала принять на себя и часть хлеборобских забот.

Разве удивительно, что сотни и тысячи солдат и офицеров носят на груди медали за доблестный труд? Такие награды соседствуют рядом с боевыми, оплаченными кровью, заслуженными в ратных героических делах. И чтобы понять до конца этот поразительнейший факт нашей действительности, следует спросить себя: в какой еще армии мира в солдатах столь глубоко живет чувство кровной причастности к урожаю и вообще к делам народным? Ведь это чувство необъяснимо обычной работой быть накормленным досыта. Здесь неизмеримо большее, относящееся к истокам, основам, к самой сути армии — истинно народной, связанной с народом тысячами неразрывных уз.

И когда формируются целинные батальоны — подразделения автомобилстов, ремонтников для оказания помощи хлеборобам на уборке урожая, от желающих нет отбоя. Потому что, как всякое трудное дело, хлебная страда для солдата — это закалка характера, проверка себя на мужество, волю, стойкость.

...Булдашов ударил колпаком огнетушителя о землю. Но земля была вязкой, ухоженной, и огнетушитель не сработал; тогда он, озлобясь, долбанул еще раз, еще — был до тех пор, пока не вырвалась пенная струя, а огонь не ответил ей злым постреливанием сквозь сизое дымное облако.

Копильщик носился в чаду со своей лопатой, как метеор: выворачивал целые пласты земли, забрасывая пламя. Примчавшийся ветер подстегнул огонь — желтые языки, пригибаясь к земле, стали обходить людей. И слева, и справа. Еще чуть — и возьмут в кольцо.

Булдашов с остервенением ударил струей по этим языкам, но они, как живые, отпрыгнули метра на полтора, поползли дальше... Помощи бы, помощи... Вдруг он споткнулся и, падая, угодил рукой в огонь — вскрикнул, обожженный. А огонь, будто зверь, учув момент, кинулся на него, лизнул волосы, лицо. Николай с силой оттолкнул огнетушитель, откатился в пшеницу. Пламя прыгнуло за ним, заурчало, но опоздало — солдат успел подняться на четвереньки и, зацепив огнетушитель за широкую дужку рукоятки, снизу полоснул по опасным языкам пенной струей.

«Хлеб является великодушным подарком природы, такой пищей, которую нельзя заменить ничем другим. Заболев, мы вкус к хлебу теряем в последнюю очередь, и как только он появляется вновь, это служит признаком выздоровления. Он настолько нужен человеку, что, едва родившись на свет, мы уже без него не можем обойтись...» Это написал современник Гете. Не поэт и не писатель, а очень далекий от изящной словесности войсковой аптекарь А. Перментьев. Однако какие точные слова!

На Руси одна из древнейших традиций — встречать дорогих гостей хлебом-солью. Именно так, румяным караваем встречали казахстанские хлеборобы вернувшегося на Землю первого космонавта планеты Юрия Гагарина. «За хлебом-солью всякая штука хороша». Краюху материнского хлеба берут с собой в дальнюю дорогу как благословение: «Не человек хлеб носит, а хлеб человека».

С хлебом связаны наши обычаи. Его история — это история нашей жизни. Помните это: «Хлеб революции... Хлеб гражданской войны... и разрухи... Хлеб Великой Отечественной... Блокадные 125 граммов из обойной пыли, жмыха, отрубей...»

«...Сейчас кончится жидкость в огнетушителе — и все! — подумал Булдашов. — Придется курткой отбиваться. Он в отчаянии оглянулся и облегченно вздохнул — к ним бежали люди. Впереди с огнетушителем в руках — командир роты капитан Шайхеев. За ним несколько солдат тащили за собой длинное брезентовое покрывало.

Когда загасили последние островки пламени, Николай едва стоял на ногах, земля кренилась из стороны в сторону, в ушах звенело, боль прокалывала тело.

Булдашов молча побрел по границе участка. Впрочем, не молча — губы его шевелились, он считал: раз, два, три... Солдат замерял выгоревший кусок поля. У середины он задержался — глубоко в землю уходила узкая нора с оплавленными до кремнистости краями — сюда ударила молния. Николай двинулся дальше: девять, десять, одиннадцать...

Всего выгорело шестнадцать квадратных метров пшеницы — не так уж много.

— Еще бы несколько минут — и все, — проговорил кто-то. — Поле бы слизнуло, как коровьим языком. Девяносто пять гектаров.

ПОБРАТИМЫ

Солдат умирал. Он этого даже не знал, третьи сутки находился без сознания. Консилиум врачей пришел к неутешительному выводу: двустороннее воспаление легких в запущенной форме. Надежды на спасение почти нет, разве что один процент из ста.

— Один процент — это уже кое-что! — сказал командир полка, когда ему доложили мнение специалистов. Командир не был силен в медицине, но, как человек военный, он хорошо знал, что даже полпроцента на успех обязывает стоять до конца в отчаянной схватке. А ведь здесь речь идет о жизни или смерти человека. Рядового Сомова...

Полковник связался по телефону с начальником терапевтического отделения.

— Вадим Орестович, помощь от нас нужна?

— Думаю, что нет, — послышался голос в трубке. — Но я бы посоветовал послать за родителями, возможен летальный исход.

— Он невозможен! — жестко прервал командир. — Вы, дорогой доктор, неправильно формулируете. А за помощью обращайтесь прямо ко мне. — И добавил: — В любой час дня и ночи, Вадим Орестович. Поймите меня правильно и не обижайтесь — речь идет о солдате.

Доктор все понимал. И в душе даже порадовался за командира, которого лично еще не знал, не доводилось встречаться. Твердость, с которой тот требовал от медицины невозможного, в какой-то мере его даже успокоила.

— Хорошо, товарищ полковник, будем держать вас в курсе дела.

«Один процент надежды на выживание, ах, как это мало! — размышлял полковник, глубоко опустившись в кресло. — И ничего нельзя предпринять, чтобы процент хоть чуть-чуть увеличился... Остается только ждать...»

Состояние солдата продолжало ухудшаться. Лекарства, которые вводили в организм, отторгались им. Началось общее заражение крови.

Вот тогда в кабинете командира полка раздался звонок. Он был необычайно звонок, нетерпелив, этот зуммер, будто чувствовал остроту ситуации.

— Нужна свежая здоровая кровь. И немедленно!

Врачи отбирали солдат-доноров очень придирчиво — по группе и резусу крови подходил далеко не каждый. И все же взвод за взводом подходили солдаты к госпиталю в надежде, что его кровь поможет Сомову.

Прошел день — и опять никакого улучшения.

— Может, вызовем мать, товарищ полковник? — в очередной раз напомнил о себе Вадим Орестович. — Нас ведь тогда не поймут...

— Нет, доктор! Нет и нет! — закричал он в трубку. — Мне нечего будет ей сказать, ведь не война сейчас, да поймите же вы наконец, Сомов должен жить!

Полковник положил медленно трубку на рычаг и, совершенно обессиленный, опустил в кресло. Впервые за свою командирскую службу он позволил себе не сдерживать эмоций и сейчас, лишившись какого-то внутреннего стержня, как бы распался на части. «Что это я, право, вздыбился, — сказал он вслух и от своего голоса даже вздрогнул. — Э-э, брат, так не пойдет!» — И он быстро, срываясь на цифрах, набрал номер телефона госпиталя.

Трубку тотчас подняли, будто кто-то ждал звонка и находился рядом.

— Простите, Вадим Орестович, — погорячился я. Вы правы. Сегодня же pošлем человека. Это недалеко...

— Видите ли... — в трубке послышалось частое-частое дыхание. — Мне кажется, у Сомова наступил кризис. Да, я убежден! Но требуется прямое переливание крови. Только прямое...

Поочередно рядом с больным легли семеро солдат: Князев, Шмидт, Абдукадыров, Бурайтис, Хаджиков, Черняускас, Гибайдулин... Потом еще трижды полностью сменили Сомову кровь. Ее отдали, в общей сложности, семьдесят человек. И смерть отступила. Сомов пошел на поправку.

Когда командиру показали список добровольных доноров, он от удивления, сам того не ожидая, присвистнул:

— А ведь расскажи кому-нибудь — не поверят, что никто специально доноров не подбирал: обстоятельства души приказали каждому.

Оказалось, что побратимы Сомова по крови стали парни двадцати трех национальностей: русские и украинцы, казахи и башкиры, литовцы, ингуши, молдаване и грузины...

— Вот истинное братство народов, — улыбнулся командир. — Сомова можно теперь показывать вживе, как факт этого братства.



Повесть

Леонид ЮЗЕФОВИЧ

Рисунки Евгения Охотникова

КОНТРИБУЦИЯ

Светает. С вечера прошел снегопад, конусы елей похожи на сахарные головы, но лесная дорога уже утоптана, умята сотнями ног, снег визжит под копытами. Выехав на опушку, генерал Пепеляев направил коня к орудиям, затемно выкаченным на гребень холма и наведенным на вокзал Горнозаводской ветки. Еще вчера эти пушки глядели на восток, а теперь — на запад, без единого выстрела: сдал их накануне красный комбриг Валюженич: двадцать девять орудий и именной маузер, с рукояти которого Пепеляев приказал сколоть латунную пластину с надписью и вернул маузер подполковнику Валюженичу.

Три версты до вокзала, темный чужой город лежит внизу. Вблизи раскинулась по угорам заводская слобода — избы, заплоты, заснеженные огороды, дальше сквозь туман угадывается ледяной простор над Камой и леса на противоположном, правом, берегу, сплошной грядой уходящие к горизонту. За спиной, там, где копятя под елями штурмовые колонны, небо чуть посветлело, но впереди темно, тихо, молчит город,

хотя уже с полчаса, наверное, как вошли в него лыжники ударного батальона полковника Зеневича, лишь иногда доносятся слабые нестрашные хлопки: мороз, разреженный воздух глушит звук, и кажется, будто холостыми стреляют.

Артиллеристы перестали лупить сапогом о сапог, замерли у орудий. Подскочил офицер с рапортом, но Пепеляев отстраняюще махнул ослабленной кистью, словно воду стряхивал с пальцев — отставить, мол. Улыбнулся, показав между передними зубами лихую атаманскую щербинку. Под низко сидящей папахой молодое сухое лицо почти не покраснелось, только усы обметало инеем. В парадной, тонкого сукна шинели, специально надетой ради такого дня, зябковато на тридцатиградусном морозе, и выпитые час назад полстакана водки уже не греют, ушли паром изо рта, растворились в колючем предутреннем воздухе. Жеребец Василек, боевой конь, капризная умница, беспокойно перебирает ногами на месте, нервничает: он хорошо знает пушки и не любит, когда из них стреляют. Еще он не любит, чтобы его гладили, не сняв перчатки.



Медленно, по очереди высвобождая каждый палец, Пепеляев снимает перчатку с левой руки, зажимает в правой. Командир батареи смотрит на эту перчатку, готовясь повторить ее взмах, но сигнала нет — генерал треплет коня по холке, ждет, не послышится ли стрельба слева, со стороны Сибирского тракта, где подходит к городу 4-й Енисейский полк. Зачем раньше времени объявлять о себе орудийным огнем? Его здесь не ждут, и слава богу. За одну ночь сорок верст прошла на лыжах дивизия, прямо с марша втягивается в пустынные улицы, и лишь собачьей брехней по дворам откликается внизу спящий город.

Все чаще выстрелы — и впереди, и слева, где подоспели енисейцы. Пора! С навесом ударили пушки, и вскоре мощным эхом рвануло вдаль, над Камой, на железнодорожных путях — один из снарядов угодил в цистерну с керосином. Встающим заревом высветило силуэт колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора, на вершине креста на ней было той условной точкой, которой отмечался город на географических картах.

Рано утром 24 декабря 1918 года 1-я Томская дивизия Средне-Сибирского корпуса генерала Пепеляева, поддержанная артиллерийской бригадой Валюженича и полком другого перебежчика — Бармина, внезапно ворвалась в Пермь со стороны Мотовилихинского завода. Обескровленные непрерывными боями, застигнутые врасплох,

ослабленные изменой, части 29-й дивизии и Особой бригады 3-й армии Восточного фронта борьбы с мировой контрреволюцией отступили на запад, к Глазову.

Атаковали четырьмя колоннами: енисейцы наступали с востока, по Сибирскому тракту, Зеневич прошел по замерзшему пруду, рассеял отряд рабочей самообороны, вооруженный берданками и наганами, и занял цеха пушечного завода; 1-й Томский полк и юнкерский батальон вдоль железнодорожной линии устремились к центру города, но возле Петропавловского собора были остановлены, прижаты к земле заставой из восьми пулеметов; главные силы дивизии под командованием самого Пепеляева через кладбище, прямо по могилам вышли к Разгуляю, к губернской тюрьме, ныне — исправдому, где навстречу безумно бросилась в штыки трибунальская рота. Трибунальцы сбили головной батальон обратно в овраг и тут же сами полегли под казачьими шашками.

К полудню Лесново-Выборгский полк, занявший оборону вдоль Покровской улицы, был оттеснен к реке и сброшен на камский лед, бой откатился к вокзалу главной линии. Огрызаясь установленными на платформах орудиями, составы 3-й армии под огнем прорывались к мосту и уходили на правый берег, потом один из эшелонов прямым попаданием разворотило на путях, движение замерло, началась паника.

Утром, когда начальнику пермского гарнизона

Акулову доложили, что в Мотовилихе слышна стрельба, он сказал: «Эка важность! Теперь каждую ночь стреляют!» И пригрозил расстрелять паникеров. Сейчас бледный, без шапки, с перекосенным лицом Акулов пытался вскочить на коня, чтобы поднять в атаку роты Особой бригады, удерживавшей подступы к вокзалу. «По коням!» — истерично кричал он своему конвою, его хватили за руки, он вырывался и плакал.

Поезд командарма Лашевича уже ушел на правый берег, приказы отдавались по телефону, но Васильев, начдив 29-й, их не слышал — весь в крови и в саже, он стоял на подножке паровоза, который тендером таранил разбитые вагоны, пытаясь освободить путь. Едва успели эвакуировать госпиталь, но расположенный на отшибе тифозный барак победители закидали гранатами. Людским месивом клубились платформы, надрывались телефоны в аппаратной, один за другим умолкали вокруг вокзала пулеметы 1-го Рабоче-крестьянского полка. В пять часов дня последний эшелон втянулся под железные пролеты, вслед за ним бесшумно пронеслись несколько дрезин, облепленных красноармейцами. Взорвать мост не удалось: бывший саперный прапорщик Иваницкий вызвался подвести запал к заложенной взрывчатке, но по дороге пристрелил помощника и бежал к белым. Карабкаясь на береговой откос, он, чтобы сверху не шлепнули по ошибке, орал во все горло: «Боже, царя храни...»

Пепеляев стоял на откосе, смотрел в бинокль на заснеженный камский лед, испещренный полыньями от снарядов, трупами лошадей, перевернутыми санями, бегущими и неподвижно распростертыми человеческими фигурками. Капитан Шамардин, адъютант, подвел Иваницкого, предъявил саперную снасть, которую тот прихватил с собой как доказательство, начал докладывать о его подвиге, но генерал, не дослушав, развернулся и звучно врзал бывшему прапорщику по обмороженной скуле. Иваницкий взмахнул руками и скovyрнулся в сугроб.

— Запомни, — склонившись над ним, наставительно произнес Пепеляев, — мы не за царя воюем, а за демократию. Таких песен больше не пой. Понял?

К шести часам все было кончено: город пал.

Верхом на Васильке, окруженный штабными офицерами, Пепеляев медленно ехал по Покровской — сзади полуэскадрон конвоя, впереди потуином переваливается на неровной мостовой броневик «Иртыш» с шапкой снега на башне. Из-под горы несет гарью, за Камой растекаются в небе дымы ушедших поездов, на реке, на ок-

раинах еще постреливают, но здесь, в центре, тихо, пустынные широкие улицы, строго под прямым углом отходящие от Покровской вправо и влево, окна заложены ставнями. И везде так — носу не высунут за ворота, пока не разберут, чья взяла. Холуи, рабья кровь! Завтра очухаются, напозрут, как тараканы, с хлебом-солью, с адресами, прикажешь сапоги лизать, вылижут, а сейчас хоть бы какая барышня послала из окна воздушный поцелуй. Будто повымерли все, никто стопки не поднесет генералу. И для чего целый день мерз в парадной шинели? Тьфу! Сплюнул и поглядел с интересом, подумалось вдруг, что на таком морозе плевков, падая с высоты, успеет застыть на лету, грянется о землю мерзлой лепешкой. Но нет, упал плевком.

Пепеляев обернулся к Шамардину, ехавшему чуть позади.

— Завтра представишь мне список всех пермских купцов. Понял?

Не генеральская это привычка — спрашивать, понятен ли приказ, но вокруг сплошь головопаты, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Шамардин — бывший уездный воинский начальник — пороху не нюхал, нагайками думает войну выиграть, шомполами. Труслив и по трусости своей старателен: что в Омске слух, то для Шамардина — циркуляр. Черта с два стал бы Пепеляев держать при себе такого адъютанта, ан не прогонишь — из Омска приставлен для наблюдения, рекомендован самим генералом Лебедевым, главнокомандующим.

На пути попадались мертвые лошади, некоторые без задних ног, с вырубленными кусками мяса. Пепеляев смотрел на них, и сердце ныло: совсем оголодали солдатики, где-нибудь по огородам пекут сейчас, бедняги, эту конину, а в дома лезть бояться, накануне сам зачитал перед строем приказ о расстреле за мародерство. Последний хлеб съели на прошлой неделе, в обозе лишь гнилая селедка и овсяная мука на лепешки. И раздета дивизия, разута. Полушубков нет, валенок не хватает.

— Понял? — переспросил он Шамардина. — Всех купцов.

Прямо посреди улицы валялись конские трупы, целые своры собак по уши в крови рвали их с урчанием и визгом и за добычу держались до последнего, прыскали из-под самых колес броневика, с мерзким лаем разбегались перед коротежем, оставляя на снегу красные цепочки, но за спинами конвоя возвращались опять.

— Сразу видать, что тут у них за власть была, — сказал Пепеляев. — Вон как псы-то одичали.

Рано утром, едва началась пальба на окраинах, Мурзин из дому побежал в свою резиденцию на Екатерининской, и тут же примчался курьер с приказом немедленно готовить к эвакуации архив и текущие дела. Приказ, помеченный вчерашним числом, отстукан был на машинке по всем правилам — с номером, с печатью, внизу красовалась фасонистая подпись, которую Мурзин хорошо знал, и все же веяло от этой бумажки духом развала и паники. Даже казалось почему-то, будто приказ издан не вчера, а сегодня, и вчерашним числом помечен нарочно — из осторожности, чтобы в случае чего оправдаться перед начальством.

Мурзин и Степа Колобов, его помощник, провозились часа полтора, вытряхивая из шкафов документы и увязывая их в пачки, но обещанная курьером подвода так и не появилась. Тогда решили все это сжечь. Развели во дворе костер, но оканные бумаги, с таким трудом сложенные и увязанные аккуратными кипами, гореть не желали — тлели, обугливаясь по краям, сворачивались в плотный несгораемый куколь, и пришлось их снова развязывать, ворошить палками, раскидывать чуть не по листочку. Швыряя в огонь протоколы допросов и обысков, списки реквизируемых ценностей и акты медицинской экспертизы, Мурзин то и дело поглядывал через ограду на улицу, надеялся, что вот сейчас появится Наталья. Утром, когда убежал из дому, она в одной ночной рубашке встала у двери, картинно раскинув голые руки, и заявила, что с места не сойдет, пока он не наденет под гимнастерку вязаный шерстяной жилет. Разозлившись, Мурзин грубо оттащил ее от двери, пихнул на кровать и ушел. Теперь думать об этом было неприятно. Обиделась, наверно. Неужели, дуреха, до сих пор не поняла, что происходит в городе?

Стрельба слышалась уже где-то в районе Разгуляя, совсем близко.

— Тикать надо, Сергей Палыч.— Степа отшвырнул свою кочергу.— Чего тут жечь? Пускай в ЧК жгут. А мы милиция... Ворье всякое, спекулянты.— Он пнул валенком пачку протоколов.— Кому они нужны?

Мурзин не отвечал, угрюмо орудуя в костре обгорелой палкой. Но сомнения были. Конечно, уголовники ослабляют изнутри любой режим, и ни к чему облегчать Колчаку борьбу с этой сволочью. Значит, документы надо жечь. Но, с другой стороны, отребье, оно при всякой власти отребье, и при белых страдать-то будут от него не только враги. Всегда хуже всего простым людям, которых он, Мурзин Сергей Павлович, начальник рабочей милиции, и защищал. А теперь, выходит, предаст?

Он выгреб из огня дело об убийстве учительницы Бублейниковой, где уже многое прояснилось: глядишь, на днях взяли бы убийцу. Может быть, стоит подкинуть эту папку новой власти? Ведь никто не узнает. А если даже и узнают? Кто посмеет упрекнуть? Пролистал покоробленные страницы, и всплыло лицо человека, поставившего свою подпись под приказом об эвакуации: глаза навывкате, шаманское бормотливое красноречие. Этот посмеет. Вы, мол, товарищ Мурзин, искали корову, украденную у старухи Килиной с Большой Ямской, и почти нашли, и если белые найдут ее с вашей помощью, то гражданка Килина им и будет благодарна, вследствие чего утратит классовое чутье. А что пропадет она с одним чутьем, без коровы, это его не интересует. Сам, небось, первым драпанул в штабном вагоне и подводу не прислал. Какое дело ему до покойной Кати Бублейниковой? Опять же вопрос: что сделают белые с этой коровой, ежели сыщут ее по мурзинской подсказке? Вернут ли хозяйке? Да и в документах упоминаются фамилии сотрудников, могут арестовать родных. Значит, надо жечь.

— Ну, Сергей Палыч, вы как хотите.— Степа махнул через забор и сгинул.

Мурзин отобрал несколько текущих дел, которые вел сам, лично, отложил их в сторонку, на снег, а прочие бумаги продолжал жечь. И жег до того момента, как по верхушке тополя, осыпая ветки, секанула пулеметная очередь, с гиканьем пронеслись по улице всадники.

Он еще успел завернуть домой, велел перепуганной зареванной Наталье завтра с утра уходить к тестю в пригородное село, надел, чтобы хоть немного успокоилась, этот жилет и огородами припустил вниз, к Каме.

От взлетевших на воздух цистерн огонь перекинулся на склады, снег вокруг вытаял саженой на десять, исходили паром лужи, сапоги скользили в размякшей глине. Из вонючего дыма выныривали отставшие красноармейцы и по льду бежали на правый берег. Пулеметная застава у Петропавловского собора еще держалась, но с другой стороны, от обледенелых причалов и до роскошного, с колоннами, дома купца Мешкова, где каких-нибудь два часа назад находился штаб армии, заснеженный взвоз был пуст во всю длину, наплывала оттуда жутковатая тишина.

Поодаль стоял на путях отцепленный агитвагон с изображением огромного полуголого лотобойца, расклепывающего собственные цепи, возле метался по шпалам политотделец Яша Двигубский, тощий, как стручок, парень в измызанной шинели. Увидев Мурзина, он с радостным воплем вцепился ему в плечо:

— Вот хорошо, что вы подошли, товарищ Мурзин! У меня тут колоссальные ценности. Пожалуйста, мобилизуйте товарищей красноармейцев...

Еще с десяток человек пробежали мимо, некоторые без винтовок.

— Пойдите, товарищи! — воззвал Яша. — Тут колоссальные ценности!

— Чего там у тебя? — спросил Мурзин.

Яша, почему-то вдруг успокоившись, начал перечислять:

— Агитлитература, листовки атеистические и с текстами революционных песен, шесть тысяч экземпляров обращения к братьям-фронтовикам, портреты...

— Да ты глянь, что делается! Спятил? Какие еще портреты? Бросай свое добро к чертовой матери и дуй отсюда.

— Вы не имеете права! — завопил Яша. — Я доложу, да! Это волюнтаризм, так и знайте!

Мурзин с трудом отодрал от себя его цепкие костлявые пальцы, кубарем скатился на лед. Вниз по взвозу, шашками сверкая на морозном солнце, уже летели казаки, за ними, как мураши, черными точками сыпалась пехота. Он выхватил револьвер и побежал, выбирая места поторосистее, в надежде, что казаки остерегутся преследовать его там, где лошади могут поломать себе ноги среди ледяных глыб.

На следующий день, спозаранку объехав позиции на правом берегу Камы, Пепеляев со свитой двинулся обратно в город.

Еще вчера утром в бывшем доме губернатора на Сибирской улице находился штаб одного из красных полков, а с вечера здесь разместилась городская комендатура. Сквозь двойные рамы губернаторского особняка выбивался стрекот пишущих машинок, у ворот караулила генерала очередная депутация, но не с хлебом-солью, а с громадным, разинувшим бледную пасть, мороженым осетром, которого трое человек держали под мышками, как таран, словно изготовились вышибать им ворота комендатуры. Даже не взглянув на этих людей, хотя обласкал бы их, как родных, появившись они вчера, а не сегодня, Пепеляев шагнул во двор. Там двое молоденьких юнкеров, неумело тюкая топорами, кололи дрова. Он взял у одного топор, показал, как сподручнее бить по чурбаку, и лично, молодецкими ударами, развалил пару штук. Чурбаки со звоном разлетались на морозе. Юнкера смотрели понуро, без интереса, но депутация, заглядывая в ворота, с холуйским восхищением зацокала языками.

В канцелярии подскочил Шамардин, сунул какую-то бумагу с машинописным текстом:

— Все пермские купцы, как вы приказывали...

Пепеляев глянул и поморщился:

— Что ты мне суешь эту пакость! Где тут ять, твердый знак, прочее?

— Ремингтонистка, дура, привыкла при красных, — подумав, оправдался Шамардин.

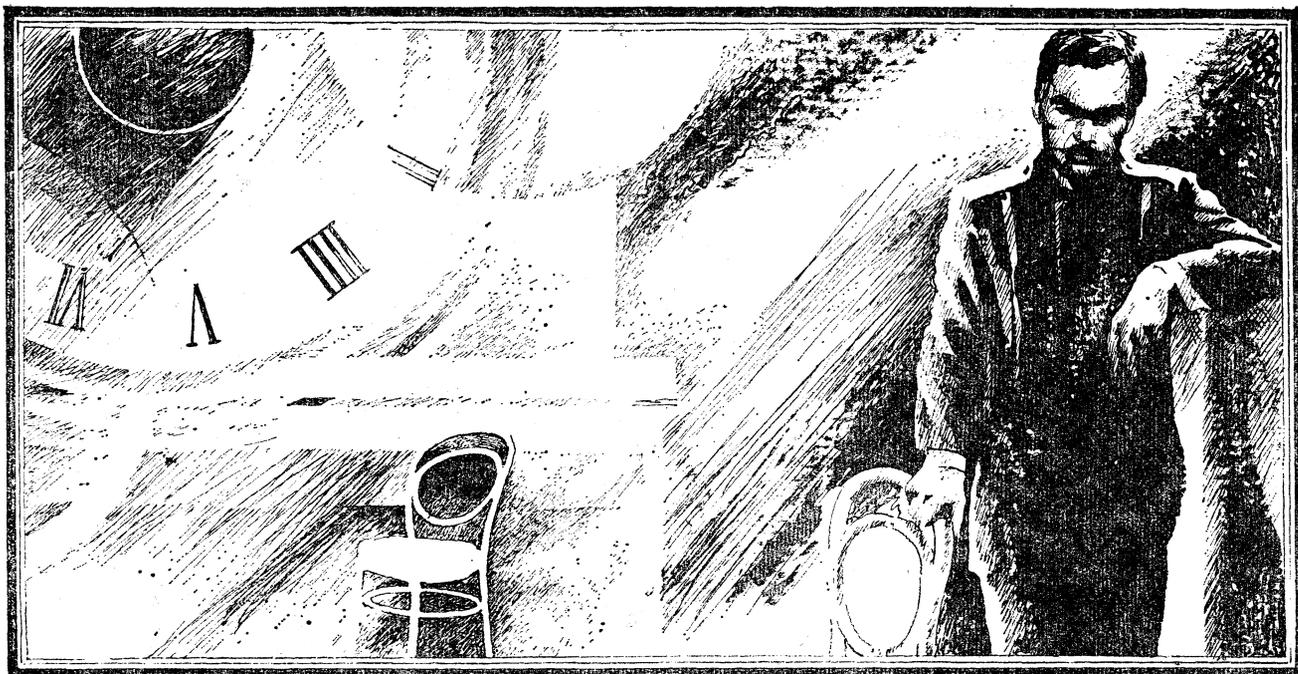
Предупредив, чтоб в последний раз, Пепеляев начал читать: «Седельников, Калмыков, Миллер, Каменский, еще Каменский, Фонштейн, Грибушин, Сыкулев-младший, Мешков, Исмагилов, Чагин...» Птичками отмечены те, что в настоящий момент пребывают в городе — восемь человек. Остальные, спасаясь от большевиков, разбежались кто куда. Без твердого знака на конце купеческие фамилии казались жалкими, как бы оципанными, будто их владельцы нарочно прибеднялись, хитро выставляли свою якобы нищету, повальное разорение от прежней власти.

— К шестнадцати ноль-ноль, — распорядился Пепеляев, — этих восьмерых собрать здесь. Отпечатай приглашения, я подпишу.

Шамардин исчез — единственное, что он умел делать ловко и бесшумно. Пепеляев прошел в каминную залу, просторную комнату с лепниной на потолке, с измахрившимися обоями, совершенно пустую, если не считать большого круглого стола в центре, окруженного разнокалиберными стульями, табуретами, креслами, среди них одно даже зуболюбное; на двух стульях с сиденьями красного бархата лежит простая нестриганая доска, чтобы за стол влезало больше народу. Голая столешница испятнана кругами от горячих стаканов, и Пепеляев подумал, что с такой дисциплиной, когда гоняют чай во время штабных совещаний, удержать город было, разумеется, невозможно. Сам он запрещал на военных советах пить даже воду.

С потолка свисали две электрические люстры с круговыми плафонами, целыми и разбитыми. Камин не горел.

Когда-то губернаторы давали здесь балы, мажурка сотрясала стекла, дамы проносились в воздушных платьях, веяло духами и горячим воском от свечей, и не дубину-губернатора было жаль, а всю эту навек исчезнувшую жизнь — трогательную, хрупкую, обреченную среди тайги и снегов на верную гибель, как бабочка, вылупившаяся на рождество. Он походил по комнате, заглянул в камин, откуда тянуло уличной стужей. Целое столетие эта зала была оранжереей, где распускались чудесные зябкие цветы, и лишь идиоты могли считать, будто, высадив стекла, можно согреть оранжерейным теплом всю окру-



гу. Плебейская мечта: тот же бал, только не в губернаторском особняке, а по всей России. И что? Обернулось пьяным разгулом, поножовщиной.

Впрочем, окна были целы, закрыты, щели проклеены бумажными полосами. Пепеляев рванул пару форток, затем распечатал еще одну в смежной комнатке, куда вела дверь прямо из зала, чтобы сквозняком вытянуло тяжкий дух комиссарской махры. Снял со стульев доску и вышвырнул в коридор. Зубоврачебное кресло, бог весть каким ветром занесенное в этот зал, решил пока оставить — оно напоминало о том, что все вокруг сошло с мест, перепуталось. Не только люди, вещи забыли о своих обязанностях, смута гуляла по России; в Тагиле, на главной площади, он видел лежащие рядом на земле статую Александра-Освободителя и гипсовую девку в хламиде, изображавшую торжество свободы: одну свалили красные, другую — белые, и на обеих сидели тагильские бабы в зипунах, торгующие жареными семечками.

Да, смута. Но, если честно, без этой смуты кем был бы он, генерал Пепеляев? В его-то двадцать семь лет. Ну, батальонным в чине подполковника. Кто бы его знал? Нынче же он командир корпуса, надежда России. А Виктор, старший брат? Пустомелил бы в Думе, статейки кропал в газетах. А теперь министр внутренних дел, член совета при верховном правителе — Звездной палаты. Их эта смута вознесла к та-

ким высотам, о которых год назад и мечтать не осмеливались.

Явился Шамардин, принес приглашения, составленные витиевато и длинно, с этакой уездной церемонностью. Пепеляев достал карандаш и вычеркнул лишние слова, затемняющие смысл: велено прибыть, и никакой сахарной водицы. Затем велел разослать приглашения с вестовыми. Вместе с Шамардиным вышел в коридор, позвал другого адъютанта, любимого, поручика Валетко. Тот щелкнул каблуками, но не козырнул, поскольку накануне ранен был в правую руку, она висела на перевязи. Ему приказано было к шестнадцати ноль-ноль привести и построить на улице, под окнами каминной залы, первую роту юнкерского батальона.

Обстоятельный Валетко спросил, как именно следует построить роту.

— В две шеренги, повзводно, — сказал Пепеляев.

Депутация с осетром по-прежнему топталась у ворот, он видел ее из окна канцелярии, видел, как Валетко, проходя мимо, остановился, долго щупал рыбину, потом левой рукой вынул из ножен шашку и шашкой измерил длину: получилось два лезвия без эфеса.

Пепеляев решил все же выйти к депутатам. Оказалось, однако, что никакие это не депутаты, представляют лишь самих себя: просто купец Калмыков с сынами и прихлебателями на всякий случай надумали засвидетельствовать по-

чтение новой власти. Сам патриарх в собачьем треухе ринулся было целовать генералу руку, но обе руки мгновенно убраны были за спину, сцеплены с хрустом. Одним осетром всю дивизию не накормишь, а для себя лично Пепеляев никогда ничего не брал, хотя слюна и набежала, кадык предательски дернулся. И вспомнилось, как он, командир корпуса, генерал, не удержавшись, в вагоне у полковника Уорда за один присест уплеп трехдневный рацион британского стрелка, и все это под взглядом Уорда, исполненным жалости и покровительственного презрения.

— Отнесите раненым в лазарет,— сказал Пепеляев.— А вас, господин Калмыков, жду сегодня здесь, у себя. Приглашение доставят вам на дом.

Тот просиял.

— Ваше превосходительство, всем сердцем, поверьте! Такая честь! С супругой прикажете? Или без дам-с, по-военному?

— Без дам-с,— сказал Пепеляев.

Валетко, баюкая на перевязи раненую руку, печально смотрел на осетра, прикидывал, видимо, что раз так, не отправиться ли и ему в лазарет.

— Юнкеров построишь и ступай,— проницательно улыбнулся Пепеляев.— Пока еще там сварят.

— Такая честь, такая честь! — суетился Калмыков и подталкивал сыновей, чтобы тоже кланялись генералу, но ражие сыны стояли прямо, косились в сторону.

Из ворот выезжали вестовые с приглашениями, приосанивались в седлах, красуясь перед генералом.

Он вернулся в канцелярию, где Шамардин подал список пленных командиров и политотдельских работников. Особо важных птиц среди них не было. Дойдя до последней фамилии, Пепеляев удивленно вскинул глаза:

— Начальник полиции?

— Так точно, Мурзин Сергей Павлович. Его на улице жители опознали.

— У них что, полиция была?

— Ну, милиция,— сказал Шамардин.— Не все ли равно.

Мурзина подвел револьвер.

Но не в том смысле подвел, что дал осечку. Может, и ушел бы Мурзин на правый берег, как уходили десятки и сотни других, но сгоряча, уже на льду, пару раз пальнул, обернувшись. Зачем стрелял, одному богу известно. Из гордости, наверное, как пацан, чтобы не так стыдно было драпать, бахнул напоследок — мол, знай наших, и собственной же дуростью накликать беду. Ка-

заки тут же сообразили, что раз при нагане человек, значит, не простой, начальник, и с ходу припустили за ним.

Когда вели в город, выскочила из своей развалюхи старуха Килина, бросилась к Мурзину, стала требовать корову, которую он сулился отнять у злодеев, и казаки, расспросив бабку, сообщили офицеру, сортировавшему пленных в тюремном дворе, что поймали не кого-нибудь, а самого начальника красной полиции.

Исправдом снова стал тюрьмой. Весь день сюда приводили пленных, обыскивали, наскоро допрашивали, снимали теплые вещи и загоняли в камеры. Пока стояли во дворе, к Мурзину сунулся знакомый начснаб одного из пехотных полков, тоже пленный, предложил поменять его, начснаба, валенки на мурзинские старые сапоги. Хитрость была не ахти, валенки-то, как пить дать, отберут, а сапоги, может, и оставят, латаные тем более, и Мурзин не согласился. И действительно, оставили ему и сапоги, и шинель, даже Натальин жилет не заметили, а начснаба пустили по бетону в одних портянках.

Заперли их обоих в камере возле караулки, и это опять же не предвещало ничего хорошего — чтобы, значит, были под рукой. Сперва сидели втроем — с командиром трибунальской роты Мышлаковым, у которого шашкой снесено было полуха и надрублено плечо; потом стали приводить других — двоих пожилых рабочих из отряда самообороны, Яшу Двигубского, угрюмого матроса в обгорелом бушлате, нескольких обозников, себе на беду грабанувших где-то комиссарские кожаны, маленького китайца из роты интернационалистов по имени Ван-Го, или Иван Егорыч, еще человек десять, кого по разным причинам сочли подозрительными и выделили из толпы во дворе. Последним приволокли раненого в ногу командира пулеметной заставы у Петропавловского собора, бросили, как мешок, на пол.

Есть не давали, печь не топили. На бетонном полу стыли ноги; Яша, как цапля, поджимая то одну, то другую, стоял в углу, трясся и тоненько подвывал от холода. Ван-Го на корточках присел у стены, его кукольная мордочка была печальна, но он, видимо, не знал, в каких словах высказать свою тоску чужака, одиночество, страх смерти.

К вечеру как-то незаметно две партии сложились в камере: те, что надеялись выбраться отсюда живыми, и те, у кого такой надежды не было. У Мышлакова не только надежды не было, а еще и была уверенность, что уж его-то первого расстреляют, и эта уверенность в скорой смерти позволяла ему чувствовать себя здесь полным

хозяйном. Яшу Двигубского он сразу принял под свое крыло. Постепенно вокруг них собралась вся партия — матрос, раненый пулеметчик, оказавшийся начпулем Лесново-Выборгского полка, двое самооборонцев и Мурзин. Ван-Го пересел поближе к ним, но все-таки не совсем рядом: он знал, что придется помирать, и ждал, когда эти люди сами позовут к себе. Наконец Мурзин догадался, позвал:

— Айда к нам, Иван Егорыч.

Начснаб то пытался опереться на мышлаковский авторитет, нахально требовал у кого-то утаенные при обыске папиросы, то, напротив, подсаживался к обозникам, упрашивал скрыть, кто он такой, выдать за ездового, а Мурзину говорил:

— Ты, брат, в сапогах, а я в портянках. Нам друг друга не понять.

К ночи в караулке раскалили печь, та стена потеплела. Привалившись к ней, Мышлаков рассказывал, как вечером третьего дня шел мимо штаба армии, а там гармонь наяривает, бабы визжат, у ворот сани стоят под коврами — кататься, у лошадей в гривах ленты, как на масленицу. И яростно материл штабных — суки, предатели, проспали город, смылись в одних подштанниках, но стоило одному из обозников поддакнуть, как тут же рывкнул:

— А ты там не вякай! Прав не имеешь.

Вдруг Яша, до того молчаливый и жавшийся к Мышлакову, вскочил на ноги:

— Товарищи! Послушайте, товарищи! Да неужели мы дадимся живыми в руки нашим палачам?

— А ты разбежись и башкой о стену, — предложил матрос.

— Сядь, Яша, — сказал Мурзин. — Как все, так и ты. Не шустри, успеешь.

Яша сел. Самооборонцы, великодушно оправдывая начальство, стали говорить, что вчера много снегу навалило, телефонисты не могли сыскать оборванные провода, не было связи со штабом, потому так все и вышло, никто не виноват. Пулеметчик с ними соглашался, кивал головой в спекшейся кровавой коросте. Он до последнего стоял у Петропавловского собора, и перед смертью ему не хотелось считать себя жертвой предательства.

— Холуй вы! — сердился Мышлаков. — Научили вас при царе начальников почитать, никак отвыкнуть не можете. Говорю, проспали город штабные. Предали нас. Какой, к хренам, снег!

— Снег, снег, — твердили самооборонцы, и почему-то Мурзину нравилось их упрямое смирение.

Ван-Го все с той же виноватой улыбкой просил рассказать, как от Перми добраться до Харбина, и нарисовать, если можно, кусочком кирпича на полу чертеж: какие горы и реки будут справа, какие — слева, чтобы дух, вылетев из его тела, не заблудился бы по дороге на родину.

Мурзин и не заметил, когда именно из беспорядочного этого разговора начала вытягиваться ниточка истории, которую рассказывал Яша — про каких-то французских революционеров, якобинцев, приговоренных к смертной казни. Вначале его не слушали, перебивали, но Яша упорно, как шелкопряд, тянул свою ниточку, и в конце концов притихли.

Этим якобинцам, рассказывал Яша, должны были с позором отрубить головы на гильотине. Их вели по улице к месту казни, и товарищ, избежавший ареста, оставшийся на свободе, по пути сумел украдкой сунуть одному из них в руку нож. И тот сразу вонзил его себе в сердце. Но мало того, что вонзил, еще успел, умирая, последним напряжением воли выдернуть нож из раны и передать другому, шедшему сзади, который сделал то же самое. И так все они, шесть человек, покончили с собой одним-единственным ножом, чтобы умереть достойно, показать палачам свое мужество.

— Зарезаться-то что, — оценил один из самооборонцев. — Каждый может. А вот передать... Да-а!

— Товарищи! — тонким голоском сказал Яша. — У меня нож есть. Я его под носком спрятал.

Мурзин протянул руку:

— Дай-ка взгляну.

Взял складной гимназический ножик, которым Яша, наверное, чинил карандаши в своем агитвагоне, раскрыл, с легкостью отломил игрушечное лезвие, а обломки зашвырнул в парашу.

У Яши слезы выступили на глазах.

— Зачем ты? — спросил Мышлаков.

— Да этим ножом курицу не зарежешь. Бесплатную комедь устроить...

И Мышлаков согласился:

— Верно... То в Париже.

На следующий день первым выкликнули его, потом Яшу.

Мышлаков поднялся спокойно, лишь слюна, видать, набежала: пока шел по камере, раза три сплюнул на пол. Яша еще успел пожать руки матросу, пулеметчику, самооборонцам и Ван-Го — всем, кроме Мурзина; даже начснабу протянул ладонь, но тот быстро отскочил в сторону и руки не взял, потому что у порога стоял офицер, смотрел.

Когда за Яшей и Мышлаковым закрылась



дверь, обозники загомонили шумно, с облегчением: пронесло.

— Цыц, гады! — заорал матрос. — Придушу! Пули не дождетесь!

Вскоре увели и его.

Первым из приглашенных подоспел Калмыков — на час раньше, чем было велено. Этот час он расхаживал по комендатуре, заглядывая во все двери, и, если не прогоняли, радостно сообщал, что явился сюда по личной просьбе их превосходительства. От полноты чувств Калмыков оделял встречных копчеными рыбками из принесенного с собой кулька.

Остальные купцы собрались минут за пятнадцать до назначенного времени, а чаоторговец Грибушин, в прошлом владелец нескольких магазинов, упаковочной фабрики и крупнейшего чайного павильона на Нижегородской ярмарке, прикатил на извозчике с небольшим опозданием, что Шамардин расценил как наглость и неуважение к властям.

На извозчике приехала также вдова купца Чагина, Ольга Васильевна, законная наследница салотопенных, мыловаренных и свечных заводов, где уже с полгода, наверное, ничего не топили и не варили.

Шубы и шапки приказано было оставить в шинельном чулане, рядом с канцелярией. По приказу Пепеляева камин уже затопили.

Без объяснений, поскольку сам ни о чем не знал, Шамардин провел приглашенных в каминную залу, там они и сидели, дожидаясь генерала и теряясь в догадках. Лишь Грибушин делал вид, будто причина приглашения не составляет для него секрета. Более того, намекал на какие-то с Пепеляевым взаимные обязательства, не позволяющие преждевременно открыть эту причину. Впрочем, все были настороже, один Калмыков по-прежнему пребывал в самом радужном настроении: почему-то он был уверен, что речь пойдет о подрядах и поставках для армии, несомненно выгодных, и советовал Фонштейну не быть дураком, окреститься ради такого дела. Маленький, скромный Фонштейн, сумевший раскинуть по всему Уралу сеть своих галантерейных лавок, на всякий случай благодарно улыбался. Он не любил иметь дело с мужчинами, особенно с военными, а на тех, от кого зависела его судьба, привык воздействовать через женщин — галантерейная торговля давала для этого немало возможностей. Но у Пепеляева не было пока в Перми ни жены, ни любовницы.

В камине пылали сухие, зимней рубки дрова. Поближе к огню, одышливо свистя носом и на-

валившись на поставленную между коленями простую суковатую палку, сидел Сыкулев-младший — грузный старик с кержацкой бородой, хозяин реквизированных красными пароходов, скупщик пушнины. Единственный из всех он наотрез отказался снять шубу, и Шамардин не смог с ним ничего поделать.

Другой бывший пароходчик, представитель знаменитой фамилии Каменских, Семен Иванович, кучерявый мужчина лет сорока пяти, нервно мотался по комнате, мельтеша полосатыми брюками и покусывая подаренную Калмыковым рыбку.

— Да сядьте же вы! Прямо в глазах рябит, — сказала ему Чагина.

Ее мужа, связанного с офицерским подпольем, расстреляли весной, после чего Ольга Васильевна, сохшая от его домогательских привычек, необычайно расцвела и похорошела. Ей не исполнилось еще и тридцати лет, и свобода, о которой так много все говорили в последнее время, была теперь для нее не пустым звуком.

— Говорят, губернаторов больше не будет, — сказала Ольга Васильевна, затевая светскую беседу.

— И слава богу, — просипел Сыкулев-младший. — На что они нужны, дармоеды?

Как все скупщики и перекупщики, он не любил твердой власти.

— Не век же быть военной диктатуре, — возразил Каменский.

Они с Грибушиным оба были противники диктатуры, выступали за Учредительное собрание, но с недавних пор общность их политических убеждений утратила всякое значение: между ними встала вдова Чагина. И тем решительнее, что Каменский хотел на ней жениться, а Грибушин, человек семейный, — так, поразвлекаться.

— Старший Пепеляев, как известно, член партии кадетов, — заметил Грибушин. — А младший, говорят, придерживается эсеровских взглядов. Просто до поры до времени не афиширует их.

— Дожили! — покачал головой Фонштейн. — Генерал и — эсер!

— Что-то не похоже на то, — усомнился Каменский. — Как он из пушек-то по городу! На Монастырской два дома снарядами разбило, в квартале от меня. Детей поубивало. Человек с подлинно демократическими убеждениями так-то бы себе не позволил.

Грибушин усмехнулся:

— Ну, генералы, они прежде всего генералы...

— Бога не гневите! — осерчал Сыкулев-млад-

ший. — В ножки ему поклонитесь, что большевиков прогнал. Ишь, растягались!

— Которые на Монастырской, они сами виноваты, — сказал Калмыков. — Надо было в погреб лезть.

— А я так на крыше сидел, с биноклем, — неуверенно похвалился Каменский, косясь на Ольгу Васильевну. — Все же исторический момент. Пули вокруг — чирк, чирк!

Но Ольга Васильевна, никак не оценив его смелость, решила наконец вернуть беседу к выбранной теме:

— При губернаторе было общество. А если есть в городе порядочное общество, куда хочешь войти и быть принятой, как-то невольно больше начинаешь следить за собой.

— Куда уж больше вашего, Ольга Васильевна, голубушка? — удивился Каменский, с нескрываемым раздражением поглядывая на Грибушину, который восхищенно следил за движениями ее белых полных рук, разглаживающих на столе бумажку от съеденной конфеты.

— При всякой, душечка, ты власти хороша, — игриво добавил Грибушин.

Ольга Васильевна вздохнула:

— А что толку? Теперь я нищая, хоть по миру с сумой.

— Не с этой ли? — Грибушин указал на ее изящный кожаный ридикюльчик.

— Ты не приbedняйся, матушка, — сердито укорил Сыкулев-младший. — Мыльце-то, свечечки, небось, припрятала?

— Болтаете бог знает что! — возмутилась Ольга Васильевна.

— Говорю, что знаю... А вот мы с Семен Ивановичем хотели наши пароходики зарыть где, да велики больно.

— А у меня рыбка есть, — сообщил Калмыков. — Врать не буду, есть рыбка. Так ведь и у вас, Петр Осипыч, — обратился он к Грибушину, — чаек, поди-ка, имеется.

— Был, — согласился тот. — Десяток цыбиков спрятал в подвале, а весной затопило, подмокли. Мы потом эту водицу черпали. Наберешь с полведра и — в самовар. Лучший китайский чай был, сорта шу-зинь, с жасминовым листом, а вышел вроде кирпичного.

— Все мы теперь нищие, господа, — примирительно заключил Фонштейн.

— Что и говорить, — подтвердил Каменский.

Ольга Васильевна сверкнула на него острыми черными глазами:

— Коли так, что вы ко мне подсаживаетесь?

— Ничего, господа, ничего, — подбадривал Калмыков. — Поправимся, даст бог.

Но у всех, кроме него, на душе было неспо-

койно, и тревога еще усиливалась от того, что в зале находилось почему-то зубоврачебное кресло — белое, с подголовником, странно притягивающее взгляд, не понятно кем и для чего здесь поставленное. Возле этого кресла, в которое никто не садился, отдельно от всех, не принимая участия в разговоре, стоял непроницаемый Исмагилов — боковая ветвь одного из могущественных казанских торговых домов: мануфактура низшего сорта, скобяные изделия.

— Может быть, — предположил Каменский, — нас пригласили сюда затем, чтобы разом восстановить в имущественных правах? В конце концов, у военной диктатуры есть одно неоспоримое преимущество: никакой волокиты.

— Да, да! — обрадовался Калмыков.

Остальные промолчали, а Сыкулев-младший совсем уж свирепо засвистал носом.

Ровно в шестнадцать ноль-ноль пришла и построилась на улице юнкерская рота — в две шеренги, фронтом к особняку. Пятью минутами раньше, войдя в кабинет коменданта города, чьи обязанности Пепеляев решил временно исполнять сам, Шамардин доложил, что приглашенные прибыли: из сорока двух пермских гильдейных купцов тридцать четыре разъехались кто в Сибирь, кто за границу, осталось восемь, из них налицо — семь; купец Седельников при красных тронулся умом, и говорить с ним ни о чем нельзя.

Пепеляев поднялся из-за стола, мельком взглянул на себя в зеркало. Он соскучился по настоящим зеркалам, ведь совсем недавно надеты генеральские погоны, еще не остыли, обжигают плечи.

— Господа-а! — первым входя в залу, строго воззвал Шамардин.

Купцы встали — шесть мужчин и одна женщина.

— Садитесь, мадам, — сказал ей Пепеляев.

На левом фланге, с которого Шамардин начал представлять прибывших, пыхтел толстый бородатый старик с палкой, о нем сказано было, что это господин Сыкулев-младший.

Интересно, подумал Пепеляев, каков же старший.

— Начать следовало бы с дамы, — напомнил он Шамардину.

Вслед за Ольгой Васильевной представлены были прочие: валяжный Грибушин, поклонившийся с достоинством вызванного из ссылки опального боярина; суетливый, похожий на пуделя Каменский, виновато глядящий Фонштейн, каменноликий Исмагилов и еще раз Калмыков, старый знакомец. Каждому Пепеляев протягивал руку. Грибушин пожал ее по-европейски, спокойно и мягко; Каменский вцепился так,

словно тонул; Фонштейн деликатно взялся за самые кончики пальцев, Исмагилов едва тронул и сразу отпустил, будто обжегшись; Калмыков дружески встряхнул, а Сыкулев-младший медленно оплел генеральскую ладонь узловатыми мощными пальцами и не отпуская, пока Пепеляев сам не вырвал.

— Ну, господа, — спросил Пепеляев, — как вам тут жилось при большевиках?

Молчание. Потом вызвался Грибушин:

— Позвольте, ваше превосходительство, я скажу за всех...

Но сказать за всех ему не дали, каждый хотел доложить сам за себя. Первым, исчисляя понесенные убытки, ровно загудел Сыкулев-младший, за ним вступил Калмыков, Грибушин же, способный широко смотреть на вещи, начал говорить от имени тех тридцати четырех купцов, которые разбежались из города, не дождавшись прихода белых, а также от лица тронувшегося умом несчастного Седельникова. Каменский называл имена конфискованных пароходов, а Сыкулев-младший, прислушиваясь, то и дело встречал:

— Да разве то пароход? Баржа поганая. Отто у меня был пароход...

Ольга Васильевна даже всплакнула, поминная обыски, реквизиции, смерть мужа и неделю трудовой повинности, месяц назад объявленную одновременно для лошадей и буржуазии. Исмагилов, и тот ввернул, не выдержав, какую-то непонятную жалобу, лишь Фонштейн молчал, скорбно глядя на генерала, но его молчание было внятнее любых слов.

Пепеляев слушал равнодушно. Поначалу купцы еще соблюдали приличия, но вскоре заговорили все хором, перебивая друг друга, скопом наваливаясь на одного, если тот пытался преувеличить свои потери, и в общем гуле истинная картина событий вырисовывалась туманно. Впрочем, Пепеляев не очень и стремился ее прояснить.

— Аки Иов на пепелище! — провозгласил наконец Сыкулев-младший, грянув палкой об пол, и Пепеляев решил, что хватит, высказались.

Он поднялся:

— В таком случае прощайте, господа.

Сразу стало тихо.

— Я вас больше не задерживаю, прощайте, — повторил Пепеляев. — Я думал, с вами можно иметь дела, а вы, оказывается, разорены вконец.

— У меня есть рыбка! — испуганно выкрикнул Калмыков.

— Скажу за всех, — опять вылез Грибушин, и на этот раз никто его не остановил. — Не спешите с выводами, ваше превосходительство. Ви-

дите ли, несмотря на небывалые насилия, кое-что удалось нам и сохранить в предвидении будущего. Я прав, господа?

Утвердительно ответил один Калмыков, но и возражений тоже не послышалось.

— Тогда,— сказал Пепеляев,— прошу всех подойти к окну. И вас, мадам... Полюбуйтесь, как одеты ваши освободители.

На морозе, на ветру коченела рота — ботиночки, тощие шинельки, фуражки вместо шапок, нитяные перчаточки, прикипающие к затворам, а у иных и вовсе упрятаны в рукава голые руки. Посинели губы, уши покрыты черными коростами.

— Бедненькие,— вздохнула Ольга Васильевна.

Калмыков заметил, что неплохо бы им водочки, а Грибушин сказал:

— Ваше превосходительство, теперь я вижу, вы действительно сотворили чудо. Земной вам за это поклон.— И поклонился величаво.

Вслед за ним привычно согнулся Калмыков, Каменский клюнул носом воздух, чуть мотнул бородой Сыкулев-младший, Исмагилов, набычившись, наклонил бритую голову, кокетливо присела Ольга Васильевна, а галантерейный Фонштейн почему-то по-военному четко вдавил подбородок в ямку между ключицами.

— Вы сами убедились, в каком положении находится дивизия,— сказал Пепеляев.— Моим людям нужны полушубки, валенки, шапки, рукавицы. Нужно мясо и масло. Сено, овес, теплые попоны для лошадей. У меня нет подвод, и лошадей тоже не хватает. Короче говоря, господа, я рассчитываю на вашу благодарность.

— Но у нас ничего этого нет,— быстро сообщил Каменский.

— Минуточку, Семен Иваныч,— оттерев его в сторону, вперед снова выступил Грибушин.— Пожалуй, мы могли бы провести кое-какие торговые операции и получить то, что вам требуется. Но не сразу, конечно.

— Срок? — спросил Пепеляев.

— Не меньше месяца.

— Много!

— Можно и побыстрее. Вопрос вот в чем: какими деньгами вы намерены с нами расплачиваться?

В первый момент Пепеляев от изумления не нашелся даже, что ответить, и тут же все опять загалдели. Сыкулев-младший хотел получить плату исключительно царскими золотыми империялами или, на худой конец, серебряными рублями, Фонштейн согласен был даже на кредитные билеты Сибирского правительства, прочие настаивали на иностранной валюте, английской

или французской. Грибушин готов был взять и японские иены.

Пепеляев молча, с презрением, разглядывал этих людей, повернулся к Шамардину:

— Прикажи увести юнкеров.

— И, разумеется,— добавил Грибушин,— мы хотели бы получить некоторые гарантии...

— Задаточек, это само собой,— подтвердил Сыкулев-младший.

— Да поймите же вы! — Пепеляев сделал последнюю попытку.— Деньги у меня только сибирские, а их никто брать не хочет. Если же я начну проводить насильственные реквизиции по деревням, это в конце концов ударит по нам же. И по вам, господа! Мы теперь одной веревкой повязаны. Мужик отвернется от нас. Нужно ему заплатить за лошадей, за подвод, за валенки. Понимаете? За все то, без чего я не могу наступать. Такое уж сейчас время, все мы должны чем-то жертвовать. Вспомните Минина!

Купцы слушали хмуро, лишь Фонштейн согласно кивал, но и он помалкивал.

— Мне нужны деньги! — почти кричал Пепеляев.— Золото, драгоценности! Я не верю, что вы ничего не сумели припрятать. И они нужны мне сейчас. Немедленно! Не через месяц и не через неделю! Слышите? Потрясите кубышками, господа! Во имя России! Глядите, я, генерал Пепеляев, кланяюсь вам в ноги! — И в самом деле поклонился, опустив руку до полу и бешено чиркнув ногтями по паркету.

Тишина сгустилась, оттеняемая заочным топотом, словами команд, звяканьем ружейных тренчиков: там уходила, не выполнив поставленной задачи, юнкерская рота. Затем выплыл одинокий голос — грибушинский:

— У нас нет денег.

— Черт с вами, возьму натурой на обмен! Какие товары можете мне предложить?

— У нас ничего нет,— сказал Грибушин при общем одобрительном ропоте.— Ни товаров, ни наличных денег, ни драгоценностей. Мы нищие.

Это было настолько неожиданно, что Пепеляев на мгновение растерялся:

— Позвольте, но ведь вы только что говорили...

— Вам послышалось, — нагло заявил Грибушин.

На улице начинало темнеть, но электричество еще не зажгли. Камин прогорел, в комнатных сумерках тлеющие угли переливались, как сокровища на дне сундука. Пепеляев смотрел в камин, чуть раскачиваясь взад-вперед от сдерживаемой ярости, которая пересекала дыхание, свинцом наливая ноги. В тишине едва слышно поскрипывала портупея. Шамардин опасно ко-

сился на генерала: уж он-то хорошо знал, что сулит это раскачивание.

— Час вам на размышление,— тихо проговорил Пепеляев.— Заметьте время.— Взглянул на часы и вышел, с силой захлопнув за собой тяжелую дверь. Штукатурка, шурша, осыпалась за обоями.

Ровно через час он вошел в каминную залу, где при его появлении сразу стихли возбужденные голоса, и получил тот же ответ.

— Послушайте, уважаемые! — вскипел Пепеляев.— Мне известно, какими суммами исчислялись ваши состояния еще год назад. И вряд ли все это удалось присвоить большевикам, вы не дети! Я надеюсь от каждого из вас получить на нужды армии взнос в размере не менее десяти тысяч рублей в пересчете на золото по курсу шестнадцатого года.

— Десять тысяч? — ахнул Каменский.— За что?

— Царские деньги и «керенки» не годятся,— спокойно продолжал Пепеляев.— Для оценки золота и камней будет приглашен опытный ювелир. Все товары также приму по ценам шестнадцатого года.

— Это что же,— взвизгнул Каменский,— контрибуция?

— Вовсе нет. Сугубо добровольное пожертвование. Как при Минине.

— Но вы еще не Пожарский,— сказал Грибушин.— Это насилие, и мы будем жаловаться адмиралу Колчаку.

— Сколько угодно,— отмахнулся Пепеляев, подумав, однако, что Шамардин вполне способен еще раньше настрочить донос в Омск.

Возле камина, прислоненная к стене, стояла кочерга с деревянной ручкой. Пепеляев сжал ее в руке и так, с кочергой, мимо шаррахнувшихся купцов прошел к выходу, остановился:

— Спрашиваю в последний раз: вы согласны?

— Нет,— за всех ответил Грибушин.

— Что ж, в таком случае подумайте до утра.

Со вздохом облегчения Каменский немедленно устремился к двери, но Пепеляев загородил ему дорогу кочергой:

— Куда? Думать вы будете здесь.

Солдатика, спешившего по коридору с охапкой дров для камина, Пепеляев отослал обратно.

— Печь не топить,— приказал он Шамардину,— обойдутся. К дверям караул, без моего разрешения никого не выпускать. В нужник водить под охраной. Даме принести шубу, остальные пускай так сидят. Понял?

— Не крутенько ли? — усомнился Шамардин, но под тяжелым генеральским взглядом тут же изменил ход мыслей на прямо противоположный: — Или, может, не церемониться с ними? Взять людей и послать сейчас по домам с обыском? Что найдем, то наше.

— Красные вон целый год искали, а всего не нашли,— рассудил Пепеляев.— Нахрапом не возьмешь. Да и слухи поползут. Лучше бы обойтись без лишних разговоров... Ты вот что: давай-ка приведи мне этого начальника милиции, который в тюрьме сидит. Мурзин, кажется?

— Ну и память у вас,— почтительно восхищался Шамардин, думая о том, что утро вечера мудренее: завтра видно будет, писать донос в Омск или не писать.

К вечеру начало пуржить, под ветром сугробы и крыши барачных курились мелкой белой пылью.

Выйдя из тюрьмы, двинулись не в кладбищенский лог, откуда утром, когда увели Яшу с Мышлаковым, доносились выстрелы, и не к реке, где, как говорили в камере, пленных расстреливают и спускают прямо под лед, чтобы не долбить могилы в мерзлой земле, а сразу от ворот направились в другую сторону, к Вознесенской церкви: впереди Мурзин, за ним двое конвойных, сбоку толстенький вислоносый капитан.

Вошли в губернаторский особняк. Вестибюль, коридор; капитан отворил одну из дверей, пропустив Мурзина вперед; кабинет: пятак стульев у стены, стол, за столом человек в генеральских погонах — молодой, не больше тридцати. Лет, наверное, на пять помоложе самого Мурзина.

— Шапку снимите! — страшным шепотом приказал капитан.

— Ничего, мы же люди военные. Можно и в головных уборах. Садитесь... Я генерал-майор Пепеляев. Знаете такую фамилию?

— Слышал.

— А вы, значит, у большевиков полицией управляли?

— Милицией.

— Какая разница?

— Большая,— сказал Мурзин.

Зачем его сюда привели, он не знал, даже не догадывался, но по обращению уже предчувствовал какой-то соблазн, перед которым не просто будет устоять, и не только от голода мерзко сосало под ложечкой.

— Ах, да,— улыбнулся Пепеляев,— я и забыл. Ведь все уголовники теперь ваши братья, вы их из тюрем выпускали. Они, по-вашему, жертвы социальной несправедливости. Так? Мать

родную зарезал, так это общество виновато. Чем же вы, разрешите узнать, занимались в своей милиции?

— Да ничем,— сказал Мурзин.— Блох ловил.

— На бывшего уголовника, вы, правда, не похожи,— продолжал Пепеляев, изучающе оглядывая Мурзина.— Но будь так, я ничуть не удивился бы. По вашей логике что получается? Батрак станет хозяином, пролетарий — заводчиком. А вору кем же быть?

— Вы будто в воду смотрите,— усмехнулся Мурзин.— Я при царе семь теток отравил, божий храм обчистил.

— Лучше расскажите, как купцов грабили.

— А то не знаете, как грабят? Ночка темная, прихожу с кистенем. Кошелек, говорю, или жизнь...

— Ну, ваньку-то не валяйте! — разозлился Пепеляев.

Мурзин пожал плечами:

— А что? Сидим, разговоры разговариваем. Почему не рассказать?

— Конфискации у купцов подлежало все имущество? — спросил Пепеляев.— Или что-то им оставляли?

Мурзин молчал. Почему-то не хотелось говорить правду, хотя личные вещи у купцов не изымали, реквизировали только товары, да и то не все, на кое-какие торговые операции, необходимые населению, смотрели сквозь пальцы. Кроме того, в самые последние дни стало известно о тайных грибушинских, исмагиловских и чагинских складах, собирались проверить, да не успели. Но об этом генералу знать было вовсе не обязательно.

Между тем Пепеляев начал подробно спрашивать про каждого из купцов по отдельности: сперва про Грибушина, потом перебрал остальных — что у них было, что взяли, не осталось ли чего и где может быть спрятано. Мурзин отвечал уклончиво, не понимая, зачем генералу все это нужно, и после очередного туманного ответа Пепеляев не выдержал, сорвался:

— Да кого вы покрываете? Чего ради? Это же злейшие ваши враги!

— Капиталисты! — добавил Шамардин.— Кровососы!

Пепеляев сделал ему знак замолчать, но поздно: ситуация начала проясняться. Само собой, купцы, как им и положено, жмотятся, не желают ни гроша давать своим освободителям, валят все на него, на Мурзина — мол, обобрал до нитки, оставил голыми. Ай молодцы! Решили хлебом-солью отделаться. Он покусился на большой каравай, завернутый в расшитое полотенце и лежавший на краю стола, хотя до этого ста-

рался лишний раз в ту сторону не глядеть, слюной томило.

Перехватив его взгляд, Пепеляев оторвал здоровенный ломоть:

— Успокойтесь.

Но не протянул, а сперва подержал немного на весу, потом, разжав пальцы, выронил на стол, словно собаке давал, приманивал, и смотрел выжидающе: возьмет или не возьмет?

Мурзин взял. Разом откусил полкраюхи, так что щеку свело набок, стал жевать и заметил, что Пепеляев с покровительственным презрением разглядывает его перекосившееся лицо.

— Можно еще маленько хлебца-то? — попросил, тяжело сглатывая.

Небрежно-изящное движение генеральской кисти, и каравай, стремительно проехав по столу вместе с полотенцем, рухнул Мурзину на колени.

— И сольцы бы хорошо.

Деревянная расписная солонка щелчком переместилась на ближний край, и Мурзин аккуратно пересыпал все ее содержимое в карман шинели. Затем вырвал из-под корки кусок мякиша, посолил, запихал в рот. Пепеляев, ослабившись, наблюдал за ним с очевидным удовольствием.

— Вот что, братец,— сказал он.— Будешь говорить правду, я тебя отпущу ко всем чертям. Понял?

— Ага.

Ближайший план Мурзина был таков: успеть съесть побольше, пока не отобрали.

— Начнем снова с Грибушина,— предложил Пепеляев.— Что могло у него остаться после ваших реквизиций?

— Ничего,— с набитым ртом промычал Мурзин.

— Ни товаров, ни золота, ни драгоценностей?

— Шаром покати.

Прожевав, дополнил:

— Все они нынче голые, Сил Силычи-то.

— И Каменский? — спросил Пепеляев.

— Как сокол. Мои ребята у него и ложки серебряные унесли.

— И Чагина, и Фонштейн, и Сыкулев-младший?

— Гольтьба,— подтвердил Мурзин.

Минут через пятнадцать такого разговора Пепеляев, рассвирепев, отнял у него остатки каравая и закинул в угол. Мурзин стоял на своем, и не понятно было, то ли он врет, пытается провести, то ли его самого провели хитрюги-купцы.

Шамардину приказано было Мурзина обрат-

но в тюрьму не водить, запереть здесь же, в чулане. Если утром купцы сдадутся, выложат контрибуцию, можно будет обвинить его в том, что соврал, и расстрелять.

Как быть, если купцы не сдадутся, Пепеляев пока думать не хотел.

В дверь постучали, вошел часовой-юнкер, один из двоих, поставленных у каминной залы, доложил, что арестованные выбрали парламентаря и просят его принять.

— Веди, — обрадовался Пепеляев.

И рано обрадовался: через минуту прибыл Каменский, что уже само по себе доказывало всю несерьезность дела. Почему для переговоров купцы прислали не Грибушина, а этого оборота в полосатых брюках? И действительно, от лица всех Каменский предложил внести требуемую сумму в царских ассигнациях или в «керенках». Пепеляев решительно отклонил попытку компромисса...

Он приказал подавать коня, сначала посетил старые казармы за Сибирской заставой, где разместились один из полков и юнкерский батальон, устроил юнкерам переключку, осмотрел пожарную снасть и поспешил на заседание временного комитета по выборам в городскую думу — первого демократического учреждения новой власти, все члены которого были назначены им лично; сказав короткую речь, помчался на вокзал, где ремонтировали разбитые снарядами пути, с вокзала — в штаб дивизии. Там он составил десяток приказов, еще столько же подписал, и до часу ночи сидели над штабными картами: из Омска приказывали 2-ю Сводную дивизию полковника Штаммермана двинуть на уфимское направление; для наступления на Глазов сил не хватало, решено было расширять плацдарм на правом берегу Камы и ждать подкрепления. В час ночи по телефону донесли, что верстах в двадцати от города появился красный бронепоезд. Поскакали на Каму. Пепеляев испытывал боеготовность охранявшей мост батареи, затем с двумя командирами полков поехали в номера Миллера, чей владелец еще не вернулся из Уфы, съели приготовленный денщиками не то ужин, не то завтрак и разошлись по комнатам. Выжиги-купцы казались уже чем-то далеким, несущественным, почти не существующим. С наслаждением раздевшись, Пепеляев лег в чистую цивильную постель, и было такое чувство, будто он лег, полежал немного, а уже надо вставать, в дверь стучали. Спал, наверное, часа полтора, не больше — утром, около шести часов, разбудил Шамардин, рапортовавший, что купцы согласились на капитуляцию. Казалось, он ждет, что сейчас генерал соскочит с постели и бросит-

ся его обнимать, но Пепеляев никакого особенного восторга не испытал, просто спокойное удовлетворение. Позавчера пал город, сегодня сдалась, выкинув белый флаг, последняя цитадель.

— С каждым пошли двоих солдат, — сказал он. — Пускай идут по домам и несут все в комендатуру. Сроку им два часа. Пока не приду, никого не отпускай. Понял?

И снова откинулся на подушку. С недосыпу ломило затылок, веки отекали, в переносицу будто вдавливали всю ночь бильярдный шар. Закрыв глаза, но уснуть уже не мог. Лежал, прикидывая, как лучше употребить полученные средства, как сделать, чтобы купцы не стали жаловаться в Омск. Пожалуй, надо их сначала припугнуть, а потом в газете «Освобождение России», которая начнет выходить с завтрашнего дня, опубликовать письмо с благодарностью всем семерым за добровольное пожертвование. А Грибушина бы, например, неплохо назначить членом комитета по выборам в городскую думу. И лучше почетным членом, чтобы на заседания его не приглашать. Если все обойдется тихо, то и Шамардин не станет ни о чем доносить, он себе не враг.

В двадцать минут девятого Пепеляев поднялся на крыльцо губернаторского особняка, миновал вестибюль и тут только, заметив часового у шинельного чулана, вспомнил, что здесь, за этой дверью, сидит Мурзин.

Тот нехотя встал навстречу — серый, небритый, с мятым лицом.

— Что, братец, будешь рассказывать, как купцов-то грабил?

— Свидимся на том свете, расскажу, — ответил Мурзин.

— Обождать там придется.

— Ничего, обожду. Авось недолго.

— Так вот, братец, — ласково сказал Пепеляев. — Сейчас мне доложили, что купечество решило пожертвовать в пользу моих солдат по десять тысяч рублей с головы.

Мурзин несколько не удивился, и Пепеляев запоздало сообразил, что сюрприза не получилось: здесь, в чулане, хранились купеческие шубы и шапки, купцы сюда заходили, прежде чем отправиться по домам.

— Значит, вчера ты меня обманул? — спросил Пепеляев. — Или тебя, может, обманули Сил Силычи-то? А? Ты с них одну шкуру, другую, а у них этих шкур, как у капусты. Чего молчишь? Давай божись, будто знать ничего не знал. Правду, мол, говорил и ничего кроме правды. Тогда отпущу, раз слово тебе дал. А не то пулю в лоб и — под лед. Или как там у вас рас-

стрел называется? Высшая мера социальной защиты? Такая формулировка?

— Точно,— сказал Мурзин.

— Давай скорее божись, что надули тебя Сил Силычи. Может быть, и поверю. На коленях божись! Ну?

— Совестно,— сказал Мурзин.

— Ишь ты! — удивился Пепеляев.— Гордый?

А чего тогда хлеб мой жрал?

— Есть хотелось,— объяснил Мурзин.

— И еще хочешь?

— Хочу. Двое суток не ел.

— Есть, значит, хочешь, а жить не хочешь? —

Пепеляев смотрел, не понимая.

— Жить все хотят.

— Божись, дурак, накормлю и отпущу.

— Нет,— сказал Мурзин.— Не стану.

Уже стоя в коридоре, Пепеляев уважительно покачал головой:

— Да, жаль тебя такого и расстреливать... А придется.

Еще помедлил, глядя на Мурзина, дожидаясь, не передумает ли; не дождался, велел часовому запереть чулан и двинулся в сторону каминной залы. Настроение испортилось, праздничное ощущение удачи пропало, растворялось в неприятном чувстве, что вот ведь, выходит, те семеро в каминной зале — вроде союзники, а этот, в чулане, — враг, и ничего тут не поделаешь, придется его расстрелять, именно таких и надо расстреливать в первую очередь, нельзя оставлять в живых этого человека, опасно для будущего. Ему, генералу Пепеляеву, тоже нужна социальная защита, и не те, увы, нынче времена, чтобы можно было позволить себе козырнуть собственным благородством.

Понурые, с зелеными ночными лицами, кутаясь в шубы, купцы сидели за столом, среди них — важный лысый старичок с бородкой, с моноклем в глазу.

— Ювелир Константинов,— сказал Шамардин.

— Молодец, догадался,— похвалил Пепеляев, оглядывая стол в поисках принесенных сокровищ, но ничего не увидел, кроме маленькой черной коробочки, одиноко стоявшей перед Константиновым.

Шамардин доложил, что Калмыков согласился внести свою долю рыбой — соленой, вяленой и мороженой; Грибушин — чаем, Ольга Васильевна — мылом и свечами, и свозить все это в commendaturу не имеет смысла. Фонштейн же предъявил вексель, по которому Сыкулев-младший задолжал ему как раз десять тысяч, и он, Шамардин, чтобы продемонстрировать всем твердость и справедливость новой власти, решил

взыскать эти деньги с Сыкулева-младшего дополнительно к его собственному взносу, а с Фонштейна ничего не взыскивать.

— Правильно,— одобрил Пепеляев.

Шамардин, одобренный похвалой, продолжал докладывать: за Каменского также уплатил Сыкулев-младший, но уже на сугубо добровольных началах; Каменский подписал обязательство уступить ему за эту сумму пассажирский пароход «Людмила», он же «Чермозский пролетарий», который осенью был уведен красными и в настоящее время находится в районе Чермозского завода, сто верст вверх по Каме.

— Ну и ну! — Пепеляев с подозрением взглянул на Каменского.— Не продешевили вы? Целый пароход, и всего за десять тысяч?

— А что делать? — огрызнулся тот, нервно дергая тощим коленом, обтянутым полосатой брючиной.— Как прикажете поступить, если мне только самовар и оставили? Ждать, пока вы меня расстреляете?

Пепеляев сощурился:

— По-моему, господин Каменский, вы сомневаетесь в прочности Сибирского правительства.

— Нет! — ужаснулся Каменский.

— Сомневаетесь и не верите, что мы сможем гарантировать вам владение «Людмилой». В таком случае пеняйте на себя. Еще локти станете кусать.— Пепеляев с улыбкой повернулся к Сыкулеву-младшему.— Считайте этот пароход своим. Благодарю за доверие, вы получите его в целостности и сохранности... После победы.

Выпучив глаза, Сыкулев-младший начал подниматься со стула, но Пепеляев махнул рукой, и он сел.

— Итого,— подвел баланс Шамардин,— в счет векселя Фонштейну, за Каменского и за себя лично господин Сыкулев представил перстень с тремя бриллиантами.

— Золотой?

— Платиновый. Ювелир оценил его в тридцать две тысячи рублей по курсу шестнадцатого года.

— Тридцать две — тридцать три,— солидно уточнил Константинов.— Изумительная вещь. Бриллианты чистой воды и необычайно крупные.

— Пускай будет тридцать три,— милостиво решил Пепеляев.— Три тысячи мы ему вернем. Чаем, свечами или мылом. Вы что предпочитаете, господин Сыкулев?

Тот не отвечал, с ненавистью косясь на генерала.

— Любопытно, откуда у вас такой перстень?

— Говорит, что фамильная драгоценность,— объяснил Шамардин.

— Ага,— ухмыльнулся Грибушин.— От бабки-поденщицы в наследство достался.

— Ну, а этот гусь? — Пепеляев ткнул пальцем в Исмагилова.

Шамардин развел руками:

— Ничего не принес. Отказывается, понимаете ли.

— Лучше помирать буду! — заявил Исмаилов и тут же, без долгих разговоров, отослан был в тюрьму, чтобы там подумать как следует.

— И черт с ним! — сказал Пепеляев, когда Исмагилова увели.— Я хочу посмотреть перстеня. Надо же, тридцать три тысячи!

Шамардин шагнул к столу, взял маленькую черную коробочку, поставил ее себе на ладонь, бережно открыл и замер, вылупив глаза: перстеня исчез.

Когда Пепеляев ушел, Мурзин снова сел на пол. Сидел, мял в руке оброненную кем-то из купцов перчатку, думал о Наталье. Как она там? Успела ли уйти к тестю? В чулане было темно, и возникало такое чувство, будто ему перед смертью завязали глаза. Всякий раз, едва по коридору приближались чьи-то шаги, чтобы оглушительно прогреметь мимо двери и удалиться, он невольно втягивал шею в плечи и напряживал мускулы, как охотничий кречет, которого уже вывезли в поле и вот-вот сдернут с головы застывший свет суконный клобучок.

Дед Мурзина родом был из Казанской губернии, село Старокрещеново под Царевококшайском, жили там русские вперемешку с татарами, крестившимися в незапамятные времена; они ходили в церковь, но почитали и развалины древней мечети за околицей, пили водку, но не брезговали и кумысом. Еще при царе Михаиле Федоровиче старокрещенцам пожалована была свобода от всех податей и казенных повинностей кроме одной: ловить и поставлять ко двору для царской охоты белых кречетов, которые водились в окрестных дубравах. Потом всех кречетов переловили, а свобода осталась. Цари давно стали императорами всероссийскими, позабыли, как с кречета клобучок снимать, как подбрасывать его с руки при виде мелькающей в полях куропатки, а старокрещенцы хотя и пахали землю, как все мужики, но по-прежнему считались государевыми кречетниками, людьми вольными; никому не принадлежали. Народ был лихой, соседние помещики их побаивались. А лет семьдесят назад, еще при крепостном праве, начальство в Казани вдруг спохватилось: какие-такие кречетники? Откуда взялись? Донесли в Петербург, и велено было старокрещенцам записаться

в, по выбору, любое из податных сословий: в купцы, мещане или казенные крестьяне. Мурзин-дед приписался к царевококшайскому мещанству, а внук перебрался в Пермь, женился, работал слесарем на пушечном заводе.

Для забавы Мурзин держал голубятню, но нет-нет, и особенно по пьяному делу, всплывала давняя пацанья мечта — поехать в Старокрещеново, изловить белого кречета, которые, как говорили, раз в десять лет еще попадались в тамошних прореженных дубравах. И Наталья, когда он, хмельной, вваливался в дом, гладила по голове, шептала о том, как вместе поедут, поймают, выучат, станут на охоту ходить, всегда будет на столе свежая дичь; он затихал, размякал от этого шепота, а утром вставал и шел на завод собирать орудийные замки. Детей у них не было. Потом решили взять из приюта младенчика, и, чтобы от соседей скрыть, что не свой, приемыш, Наталья подкладывала на живот, под платье, подушечку — будто беременная. Но тут началась на пушечном забастовка, Мурзин в поганой тачке прокатил по цехам инженера Люкина, мерзавца и шпиона, за что угодил в Сибирь, на поселение, и там, среди ссыльных, пить бросил, начал книжки читать, в три года стал тем Мурзиным, каким и был теперь.

Вскоре после того, как ушел Пепеляев, за дверью поднялась беготня, крики, еще час, наверное, миновал, затем приблизились шаги, отличные от всех прочих, и в проеме, на свету, опять возникла высокая легкая генеральская фигура.

— Выходи,— сказал Пепеляев.

Негнушимися пальцами растегивая шинель, чтобы нараспашку пойти навстречу смерти, Мурзин выбрался из чулана, однако двинулись не к выходу, а в глубь особняка. Вошли в тот же кабинет, в углу валялись остатки каравая, который до сих пор отрывался, и когда Пепеляев, не садясь, опять заговорил о купцах, о сделанных ими добровольных пожертвованиях, Мурзин никак не мог взять в толк, зачем ему все это рассказывает по второму разу. Смерть была совсем близко, рядом с ней шестнадцатый год, по ценам которого Пепеляев собирался принять у купцов пожертвованные товары, то есть всего-навсего позапрошлый, казался далеким, как времена кречетников: тогда была одна жизнь, а теперь — другая, и не понятно было, каким образом из той могла возникнуть эта.

Он слушал Пепеляева, но слышал не его слова, а законные будничные звуки утреннего города: звон ведер у обледенелой колонки, собачью брехню, налетевший свист санного полоза, колокол, и так ясны и отчетливы были эти

звуки, так много за ними открывалось душе, что, казалось, никакая сила не может заставить его, Мурзина, больше их не слышать. Даже смерть.

Солнце играло в закуржавевшем окне кабинета, Пепеляев хвастал не то своей прозорливостью, не то просто удачей — дескать, за день добыл то, чего Мурзин не сумел получить за целый год; и снова появилась мысль, больно ожегшая еще утром, когда купцы разбирали из чулана шубы и шапки, чтобы идти за контрибуцией: вот не отобрали у них всего и досталось генералу, обернется оружием, лошадьми, фуражом, продовольствием. А из-за кого так вышло? Тот, с глазами навывкате, пометивший фальшивой датой приказ об эвакуации, сказал бы, не задумываясь: вы и виноваты, товарищ Мурзин. Но виноват ли? Да, он доказывал, что нехорошо купцов разорять подчистую, они тоже люди, кто-то ведь и торговать должен был в этом мире, раз уж мир так устроен. Кто — как, но Мурзин при реквизициях поступал по совести, изымал не все, а лишь ту часть, что нажита обманом. Сам, расспрашивая приказчиков и горожан, вникая в бухгалтерию, изучая приходные и расходные книги, тщательно определял эту часть, для каждого из купцов разную: например, у Сыкулева-младшего она доходила до девяти десятых всего имущества, а у Калмыкова составляла не более половины. Почему же революционная власть должна ставить их на одну доску? Это несправедливо. Он, Мурзин Сергей Павлович, начальник рабочей милиции, хотел справедливости, и не его вина, что город пал, снег ли тому причиной, как утверждали самооборонцы, или проспали штабные, изменил Валюженич, но город пал, ничего не поправишь, и купцы сдались, остается лишь умереть достойно, в распахнутой шинели.

А Пепеляев продолжал говорить, и внезапно на ровной тусклой поверхности его речи, будто выброшенное подводным ключом, закачалось, вынырнув, одно-единственное слово, круглое и блестящее, не похожее на другие — перстень. И опять — перстень, перстень. Мурзин прислушался: был, оказывается, какой-то перстень, принесенный Сыкулевым-младшим, а теперь его почему-то нет, был и сплыл. И прежде чем все окончательно прояснилось, еще не понимая, какая существует связь между этим разговором и пропавшим сыкулевским колечком, но уже предчувствуя новый поворот судьбы на дороге, которая минуту назад казалась выпрямленной до конца, видной во всю длину, Мурзин, со снисходительной улыбкой взглянув на генерала, спросил:

— Что, надули Сил Силычи?

Через четверть часа вместе с Пепеляевым вошли в большую комнату. В углу горел камин, забранный в чугунную, с литыми цветами, раму, к нему тягой носило дым от папирос, которые курили Калмыков и Грибушин. Сизые разводья и струи с двух сторон врывались в горящий камин, хотя Калмыков из скромности пускал дым себе за пазуху, а Грибушин выдувал его чуть не в лицо стоявшему рядом с ним важному лысому старичку с бородкой — это, видимо, и был ювелир Константинов. Каменский мрачно сосал погасшую трубку, Фонштейн грыз ногти, Сыкулев-младший скреб кочергой поленья, чтобы горели жарче, и на вошедших не смотрел. Ольга Васильевна разглаживала на столе бумажку от конфеты.

Ссутулившись, втянув голову в плечи, Мурзин задержался у порога. Он по опыту знал, что первый взгляд бывает ценнее всех последующих, открывает многое, и не торопился входить в залу, но Пепеляев, шедший сзади, нетерпеливо подтолкнул в спину — мол, клубочек сдернут. Лети! Впрочем, это не генерал, а Мурзин сам так про себя подумал. Пять минут назад Пепеляев подбросил его с руки охотиться за исчезнувшим перстнем, и Мурзин полетел, потому что на этот раз выкупом обещаны были еще четыре жизни — двоих самооборонцев, раненого пулеметчика и китайца Ван-Го, он же Иван Егорыч. Мурзин сам потребовал такой выкуп, и Пепеляев согласился.

Старичка-ювелира Мурзин видел впервые, но купцов знал хорошо. И они тоже его знали — утром, когда, пихаясь и лязгая зубами, расхватывали из шинельного чулана свои шубы, Грибушин брезгливо поморщился при виде Мурзина, сидевшего в этом чулане; Исмагилов выругался по-татарски, Каменский как бы нечаянно наступил каблуком на ногу и предложил всем проверить карманы — не пропало ли чего; Фонштейн злорадно хихикнул; Сыкулев-младший, который в чулан не входил, потому что был в шубе, от дверей замахнулся палкой, и лишь Калмыков, оттесненный товарищами, последним дорвавшийся до своего пальтеца, украдкой сунул Мурзину в руку хвост копченой рыбки.

Все они сейчас были здесь, кроме Исмаглова. По их пришибленным физиономиям не трудно было представить, что им пришлось пережить, какая буря пронеслась по этой зале два часа назад, когда обнаружилось, что черная корбочка таинственным образом опустела. Мурзин видел баранью шевелюру Каменского, способную скрыть не один перстень. Шевелюра взъерошена; вероятно, в ней шарили, раздвигая упругие завитки, чьи-то пальцы — юнкера-часо-

вого, Шамардина или даже самого Пепеляева. Тот вполне мог не сдержатъ нахлынувшее бешенство, дать волю рукам.

Мурзин видел вывернутый и не заправленный обратно карман калмыковского пальтеца, съехавший на сторону грибушинский галстук и еще многое другое, ясно говорящее, что купцов уже успели обыскать. И, видимо, при этом не сильно церемонились. Но в туалете Ольги Васильевны, единственной из всех, он не заметил ни малейшей небрежности. И выражение лица было таким, словно нищи руки не шарили толь-ко что по ее телу: чуть искоса глядят хитрые черные глаза, безмятежный профиль представлен для обозрения генералу и точно следует за его перемещениями по комнате, чтобы Пепеляев именно в таком ракурсе ее видел. Руки в муфте, муфта лежит на коленях и едва заметно шевелится — пальчики елозят в меховой пещерке. Рядом Каменский трясет полосатыми коленями. Беззвучно шевелит губами Сыкулев-младший, его щеки опали, борода торчит и кажется, даже палка истончилась — не апостольский посох, а старческая клюшка. И печать надменного всезнания на лице Грибушина хотя и держится еще, но расплылась, побледнела, стала водянистой. Калмыков же и Фонштейн, почему-то ставшие вдруг похожими, как родные братья, нежно прижимались плечами друг к другу.

— Этот человек, — Пепеляев кивнул на Мурзину, — он вам, слава богу, известен, будет вести дознание.

Купцы молчали, плохо понимая, почему из арестанта, чуланного сидельца, Мурзин внезапно превратился в следователя, почему генерал с ним заодно. Это было похоже на провокацию, и купцы настороженно молчали, выжидая, что будет дальше, поглядывая на Мурзину, который рассматривал зубо-врачебное кресло, потом несколько раз крутанул винт подголовника.

— Все его распоряжения должны исполняться беспрекословно, как мои собственные. — Пепеляев уже овладел собой, голос звучал спокойно, глухо, чуть глуше, может быть, чем вчера, и только паузы между словами, жесткие, как металлические прокладки, свидетельствовали о сдерживаемой ярости — легкий звон повисал в воздухе, когда сказанное слово, обрываясь, наталкивалось на такую паузу.

— Этот мерзавец? — не выдержал наконец Фонштейн. — Он же нас грабил!

— Господа, нас нарочно хотят унижить! — догадался Каменский. — Вы издеваетесь над нами?

— А вы надо мной? — ледяным тоном спросил Пепеляев.

— У вас эсеровские замашки, — отважно за-

явил Грибушин. — Экспроприации, контрибуции... Мы будем жаловаться в Омск.

— Это я уже слышал. И тоже повторю: никто из вас не выйдет отсюда до тех пор, пока не будет возвращен перстень.

— Дайте нам бумагу и чернила! — крикнул Каменский. — Сейчас мы составим петицию!

— Я не подпишусь, — быстро сказал Фонштейн.

— Я тоже, — поддержал его Калмыков.

— И я, — просипел Сыкулев-младший. — Пушай те подписывают, у кого рыльце в пуху.

Каменский оторопел:

— Вы что, спятили? Вы на что намекаете?

— Коли не брал, так и сиди смирно. Пушай ищут.

Наблюдая за Мурзиным, Грибушин неожиданно передумал:

— Правда что, пускай поищут, — он заговорщицки подхватил под локоть Ольгу Васильевну. — А мы с вами, душенька, полюбуемся, как это у них получится. Не каждый день такие спектакли.

— Кто-то же его взял, — рассудила она, кокетливо поглядывая то на Грибушина, то на Пепеляева.

Пепеляев уже не слушал. Сопровождаемый Шамардиным, он направился к двери, но Мурзин заступил им дорогу:

— Минуточку... Ведь капитан тоже был здесь, когда кольцо исчезло?

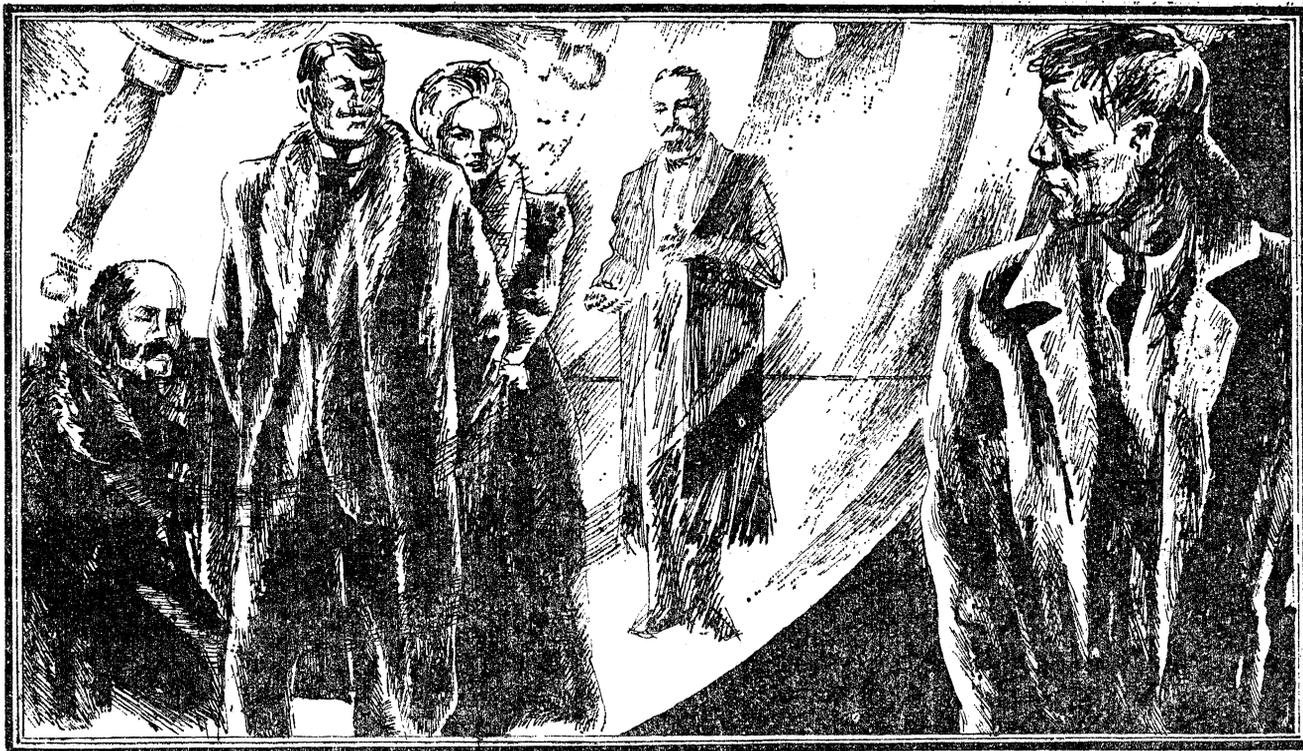
— Я не отлучался ни на секунду! — похвастался Шамардин.

— Значит, и вы должны остаться. Подозрение ложится на всех.

Шамардин, пораженный таким оборотом дела, вопросительно уставился на генерала, ища поддержки, надеясь прочесть в его глазах возмущение, участие и даже, если повезет, молчаливое дозволение смазать по сусалам этому вконец охамевшему арестанту, но ничего подобного прочесть не удалось.

— Остайся, — равнодушно сказал ему Пепеляев и вышел в коридор.

Там ждал поручик Валетко — уши из калмыковского осетра он в лазарете отведал, а на койку так и не лег. Пепеляев распорядился немедленно доставить сюда из тюрьмы тех четверых, о ком говорил Мурзин. Не велики птицы, в любом случае стоят перстня ценой в тридцать три тысячи рублей. И тем хуже для Мурзина, если найти не сумеет. Как тогда посмотрит в глаза людям, которые от его имени получили надежду на жизнь? А это будет им объявлено



сразу, сейчас же, как приведут, решил Пепеляев, и никакого садизма тут нет, все по справедливости. За надежду тоже надо платить, а с шестнадцатого года цены на этот товар сильно поднялись.

Валетко удалялся по коридору особой адъютантской походкой, одинаковой и в комендатуре, и на поле боя: со стороны могло показаться, что он идет медленно, хотя Валетко шел быстро. Пепеляев смотрел ему вслед, в голове щелкало: шестнадцатый год, шестнадцатый год. Будто колесо рулетки прокручивалось и замирало всякий раз на одной цифре. Время развала, надвигающейся катастрофы и поражений на фронтах, но теперь приходилось равняться на этот год, как на грудь правофлангового, хотя грудь тощая, цыплячья.

В приемной дожидались посетители, дежурный офицер уже рассортировал их по трем категориям, как накануне предусмотрел сам Пепеляев: прежде всего дела военные, затем личные и в последнюю очередь общественные. Эти потому относились к третьей категории, что были пока трухой, переливанием из пустого в порожнее, ничего не значили. Общество еще не осознало себя при новом порядке, и личные дела были важнее: через них обыватели скорее уразумеют происшедшие перемены.

Пепеляев прошел в свой кабинет, начался прием.

Бывший жандармский ротмистр Микрюков, ныне — начальник дивизионной контрразведки, пришел посоветоваться относительно постановки сыска в городе, но тем не менее принят был первым. По виду это было общественное дело, а по сути — военное, потому что время военное, и на оплату агентов Пепеляев решил выделить Микрюкову часть денег из наложенной на купцов контрибуции. Начальник вокзальной охраны просил увеличить число постов, определенных караульным расписанием; четыре офицера, принятые по очереди, уроженцы Пермской губернии, ходатайствовали о предоставлении им отпуска в родные места, причем один из них, прапорщик Гашев; юлил, пытался прикрыть личную нужду общественной — без него якобы в Нытвенском заводе не сможет утвердиться демократия. Троиц Пепеляев просто отказал, а Гашеву, чтобы не повадно было, приказал прямо из комендатуры отправляться на гауптвахту.

Это уже были дела на грани между военными и личными, после чего пошли сугубо личные.

Мещанин Шмыров, погорелец, просил о возмещении убытков за дом, спаленный вчера солдатами на постое; Пепеляев подробно расспросил его, как случился пожар, уличил в непра-

вильном хранении керосина и выгнал с позором. Нескольким офицерским вдовам в недалеком будущем обещан был пенсион. Мамаша девицы Геркель, узнавшая среди юнкеров соблазнителья своей дочери, требовала, чтобы генерал поговорил с ним и заставил жениться; Пепеляев согласился, записал фамилию юнкера.

Личных дел было много, а общественных, как сообщил дежурный по комендатуре, совсем мало. Пришел один из членов комитета по выборам в городскую думу, но зачем он пришел, Пепеляев так и не понял — видимо, для того, чтобы изобразить деятельность, пофигуривать перед генералом. Некий Гусько принес смету на ремонт водопровода, но Пепеляев, торопясь в каминную залу, не стал в нее вникать, велел зайти через неделю. Последним дежурный привел странного человечка в ветхой чиновничьей шинели, с воспаленными глазами на комковатом, обросшем седой щетиной личике. Фамилия его была Гнеточкин, раньше он служил в канцелярии губернского правления, письмоводителем. Гнеточкин явился с двумя проектами. Первый — на Сибирской улице, перед комендатурой, поставить мраморную вазу под балдахин, куда бы все обиженные опускали свои жалобы и прошения. Второй — как Александр Македонский держал при себе философов для говорения ему одной лишь правды, так бы и генерал с той же целью принял в свою свиту его, Гнеточкина.

«Сумасшедший», — подумал Пепеляев.

— Предположим, — сказал он, — я принимаю вас к себе, что бы вы открыли мне в первую очередь?

— Сегодня утром, — таинственным шепотом отвечал Гнеточкин, — я проходил мимо этого дома и видел, как из окна вылетела чья-то душа.

— Да ну? — улыбнулся Пепеляев.

— Истинный крест, ваше превосходительство!

— Как же она выглядела?

— Белая, ваше превосходительство. С крыльями. И собой не велика. Можно сказать, душонка.

Пепеляев сделал серьезное лицо:

— И что вы советуете мне предпринять?

Гнеточкин кивнул на дежурного по комендатуре:

— Пусть он выйдет.

— Выйди, — сказал Пепеляев.

— Среди ваших помощников, — моргая, заговорил Гнеточкин, когда остались вдвоем, — есть человек, продавший душу. Скорее найдите его и отошлите от себя. Иначе он завлечет вас на ложный путь. Берегитесь, ваше превосходительство!

В недолгой беседе выяснилось, что он и к губернатору обращался со своими проектами, после чего был выгнан со службы, и к красным тоже; те якобы уже приготовили такую вазу, правда, не мраморную и без балдахина, да не успели поставить. Пепеляев поблагодарил за предупреждение, обещал срочно приступить к розыскам человека без души и выпроводил Гнеточкина за дверь, велел обождать в приемной.

— По глазам, по глазам смотрите, — уходя, наказал тот.

Дежурному по комендатуре приказано было сейчас же увести этого юродивого в больницу, там и держать, чтобы не болтал по городу, буд-то при генерале Пепеляеве состоит какой-то сукин сын, души не имеющий.

Пепеляев встал, походил по кабинету, остервенело распыливая вылезшие из гнезд паркетины. Мерзко было на душе. Да, он победил — взял город, захватил мост и плацдарм на правом берегу, если собрать корпус в кулак, — можно наступать дальше на запад, к Глазову и Вятке, а там рукой подать до Котласа, до Архангельска, англичане по Белому морю все подвезут, кроме валенок; соединиться с Северной армией и — на Москву. Все так, но на душе мерзко. Как же вышло, что он, генерал Пепеляев, с протянутой рукой стоял перед теми, кто ему по гроб жизни должен быть благодарен, ради кого он мерз, не досыпал, питался гнилой селедкой, шел под пули? И чего добился? Такие, как Мурзин, высаживая стекла в оранжерее, думают согреть оранжерейным теплом всю Россию, а эти под шумок строят себе теплицы из осколков. Или идиоты кругом, юродивые, как этот Гнеточкин, лупоглазые фанатики, или выжиги, рабья кровь. Скорей бы уж на фронт!

Стол завален был ворохом поздравительных телеграмм, пришедших со всей Сибири от всевозможных дум, комитетов и частных лиц: молимся за победу, примите сердечные, гордимся доблестным Средне-Сибирским и прочая. Быстрым движением руки Пепеляев смел их со стола. Грош цена этим бумажкам, как дойдет до дела, никто ни копейки не даст. Телеграммы разлетелись по кабинету, усеяли пол; с наслаждением сминая их сапогами, Пепеляев прошел в коридор, затем во двор, вскочил в седло и один, без конвоя, поскакал к вокзалу Горнозаводской ветки.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.



Хрустальный шар бронзового века

Николай ЮШКИН

Заведующий сектором археологии Института языка, истории и литературы Коми филиала АН СССР кандидат исторических наук Владимир Савельевич Стоколос рассказал о том, что нашел в одном из кизильских курганов-погребений шар из горного хрусталя. Меня это очень заинтересовало.

Я знал, что кварц, в том числе и горный хрусталь, использовался человеком со времен палеолита. В бронзовом веке он был одним из главных материалов для изготовления сверлящих орудий. Недостатка в кварце на Южном Урале не было. Однако тонкая ювелирная обработка началась здесь в конце XVIII — начале XIX века. В древности же из кварца изготавливались самые грубые изделия. Откуда взяться хрустальному шару в древнем погребении? Если шар местного производства, то эта находка существенно меняет представления об уральской культуре камня.

Сейчас находка хранится в Челябинском областном краеведческом музее. Это — одноосный эллипсоид диаметром около шести сантиметров, высотой около четырех сантиметров. Широкая часть отверстия окаймлена ободком.

Шар отшлифован, однако не до блеска. В темноте, при направленном (даже незначительном) освещении, он аккумулирует свет, сияет.

Где и как изготовлен хрустальный шар? Каково его назначение? Пришлось штудировать археологическую, историческую, минералогическую литературу.

Кизильское поселение, где нашли шар, находится среди кварцевых месторождений. Под рукой древнего мастера каменных дел было сколько угодно материала. Но тот ли это кварц? Отколоть бы от шара хоть крупинку, мы бы в два счета определили, что это — уральский кварц или привозной? Но музейный экспонат портить нельзя.

И сам Стоколос рассказывал, что в археологическом материале Кизильского поселения встречаются многочисленные отщепы горного хрусталя; его здесь обрабатывали

достаточно интенсивно, чтобы прийти к идее выточить и шар. Причем еще в неолите умели не только оббивать кварц, получая необходимые отщепы, но и сверлить в нем отверстия.

Теперь о назначении.

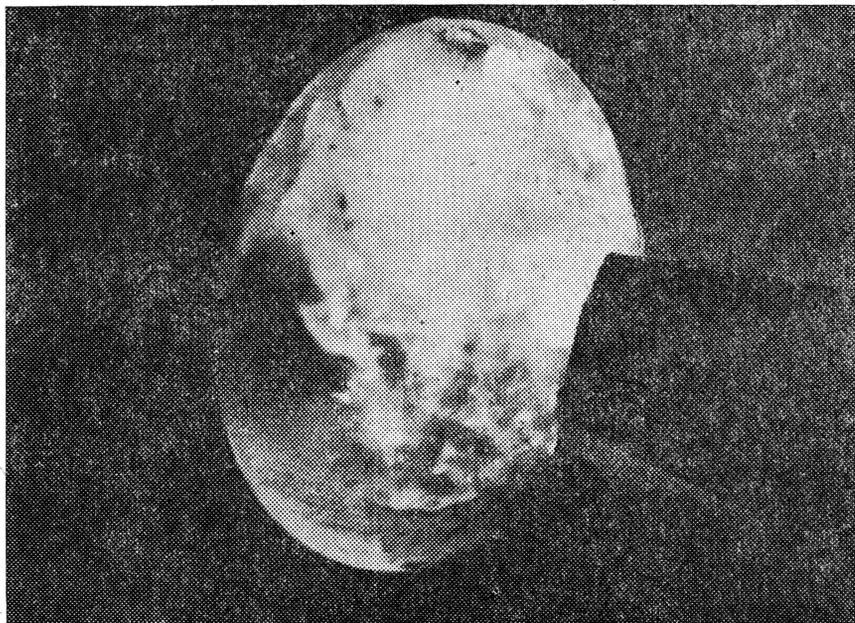
Шар был найден в погребении с частично сохранившимся скелетом. Погребенный лежал на левом боку лицом на восток, с полусогнутыми в коленях ногами. Шар находился около нижнего края грудной клетки. Кроме него в погребении найдено два горшка — один в изголовье, другой — в ногах. И все...

Склоняюсь к мысли о ритуальном назначении уральского шара. Его эффективное сияние вполне могло породить представление о его мистических свойствах. Поразительное сходство уральской находки с магическими шарами. Например, со стеклянным шаром оккультного назначения, фотография которого есть в книге Дж. Ф. Кунца. Этот шар относится к X—XII векам. Имеет такую же форму — одноосного эл-

липсоида, так же чуть эксцентричен, просверлен по оси и имеет такую же бровку вокруг отверстия.

Кизильская находка позволяет отодвинуть истоки камерного дела на Урале из XVIII века в пределы бронзовой эпохи — в начало второго тысячелетия до н. э.

Традиция вытачивания кварцевых шаров сохранялась на Урале до самого новейшего времени. Во многих музеях мира есть шары из горного хрусталя русской работы в виде глобусов, с выгравированными контурами материков, русскими или латинскими надписями. В экспозиции американского музея естественной истории есть, например, хрустальный земной шар, выточенный уральскими мастерами в XIX веке. Шар покоится на могучих плечах Атласа. Изделие очень впечатляющее. А мне больше по душе скромный хрустальный шар из Кизильского поселения бронзового века. Он — свидетель юности нашей, северной цивилизации.





...Памятью, как порохом,



**Сергей
СОКОЛКИН**

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Ю. П. Кузнецову

Мне снилось, что, с надеждами поспорюсь,
Пришла сюда моя седая совесть.
Я шел за ней...

«Вот здесь я родилась...»
И тонкой болью слабенка связь
Сквозь прожитые потянулась годы.
И сердце вздрогнуло, и связь оборвалась...
Как на войне.

Вцепившись в кабель рваный,
Молчит связист...
И нужен доброволец.
Смогу ли я, продравшись через раны
Погибших там, мне, в общем-то, чужих,
До собственной добраться боли
И посмотреть в себя глазами их?!
Понять, как я живу и что мне светит.
Я ждал ответа от самой земли...
Я был уверен, что они ответят.
Они должны ответить, черт возьми!
Я так воспитан,
Я памятью, как порохом, пропитан.
А вечного огня живые искры
В горячем сердце порождают выстрел,
И мне еще совсем немного лет...
А может, в этом вовсе нет секрета:
Искать всю жизнь на жизнь свою ответ
И не найти готового ответа?!
И просто жить...

Но, время переселия,
Найти ответ в своем понятии «жить».
Жить так, чтобы бескрайняя Россия
Слилась в одно с Россией души!
А с временем я слово породню.
И если совесть вложит мне, как другу,
В мою уже морщинистую руку
Мою же молодую пятерню,
То я умру, родиться не боясь
На языке иного поколения.
Здесь мертвых нет!
Здесь совесть родилась,
Рожденная задолго до рождения.

ДОЛГАЯ ЗВЕЗДА

Выливали себя, как придется,
пенной ревностью голубой.
Вдруг из долгой звезды над колодцем
родилась любовь.

Значит, где-то сердце родилось,
запророчило поздней кукушкой;

пальцы влажные притаились
на своей половине подушки.

Как под долгой судьбой домотканой
вдруг,

прозрев,
о звезду уколется
и, уткнувшись в небо ногами,
заплескаться звездой в колодце.

* * *

Шарф на пса наматаю...

«Свинство,
Брат мой меньший,— скажу при этом,—
Все же в век дисплеев и джинсов
Не этично ходить раздетым».

И, смеясь, побегу по траве.
На луну я кепчонку заброшу
И забуду, как был озабочен,
Что прохладно ее голозе.
Через звезды, как бог, пройду я...
Знайте наших, капризные цацы!
И созвездья, как свечи, задую.
И к тебе прибегу целоваться.

Ну а ты, на меня уставишь,
Засмеешься и чмокнешь в нос,
Скажешь: «Снова дурил, красавец...
И щетиной, как пес, зарос...»

**Светлана
ЯНИЦКАЯ**

* * *

Важнее дела нет на свете —
страница тихо шелестит.
О бедной маленькой Козетте
сейчас заплакать предстоит.
Водить по строкам неустанно,
дышать, страницу теребя.
И пахнет книга страшной тайной,
и жаль Козетту, как себя.
И детской жалостью объята
во взрослом мире непростом,
я поняла: я виновата,
я тоже виновата в том,
что вновь подружка плачет ночью,
боясь идти к себе домой,
что бьет девчонку пьяный отчим,
как Тенардые, трактирщик злой.
На мне лежит вина большая
и давит хрупкое плечо:
ничуть злодею не мешает
мой слабый острый кулачок.

ПРОПИТАН

Смогу ли, думалось ночами,
я изменить ее удел?
...Уже приблизилось начало
великих книг,
великих дел.

В стакан твой смертельного яда
никто не насыплет тайком.
А впрочем, и яда не надо,
достаточно злобных щипков,
довольно грызни ежечасной
и сплетен, проникших в умы,
а мелкие пакости часто
изводят верней сулемы.
Неужто ты вправду поверил,
что только интриги вокруг?
— Ах, нету сегодня Сальери.
— Да ты-то не Моцарт, мой друг.

**Игорь
САХНОВСКИЙ**

Казалось, что уже непоправима
та черная слепающая гроза,—
ты женщине заглядывал в глаза,
а взгляд ее летел куда-то мимо...

Менялись листья в молчаливых скверах.
Скажи, какой понадобился срок,
чтоб ты скучать и уклоняться смог
от этих глаз, от этих светло-серых?

И даже не скучать, не уклоняться.
Но краем уха слышать поезда;
пустеет небо, и дрожит звезда
прозрачная, и — трудно оторваться

Как будто кто-то ваши судьбы нес
в одной горсти —
и вдруг ладонь разжалась.
Зовет любить, а вызывает жалость
кошма тяжелых от росы волос.

Ты рад был всему свету говорить:
«Она живет — и никуда не деться!»
Она живет. Но — страшно повторить —
так разлюбил, как выронил младенца.

Таких разлук природа не прощает.
— Что ей до нас? Она чужда обид...
Но пылкий август на глазах нищает,
черствеет воздух, улицу знобит.

Что делать с тайной? Как нам уберечь
тень нежности в тисках дневного света?
Понять, но полюбить (о том и речь).
Понять, но полюбить — другого нету.

ОСЕННЯЯ ЗЕМЛЯ

За решеткой строительных схем,
из-под мокрого щебня и сора
смотрит так тяжело, будто скоро
мы ее не увидим совсем...

И, не слыша, как птицы летят,
под раскатистый визг мотоцикла
ты поверишь в себя как дитя
нулевого надежного цикла.

Накладные расходы не в счет.
Мы на лифте под облако взмыли,
крыльев не отрастили еще,
но уже о земле позабыли.

А когда я во двор выхожу,
достаю сигарету из пачки,
я на землю затем и гляжу,
чтобы новый свой плащ не испачкать.

Знобка ей в позолоте созревшей,
и уже не скрывают кусты
неухоженной и подурневшей,
неуместной ее наготы.

...Птицы смотрят не в небо, а вниз.
Распростились — и сердце заныло.
Над Бисертью они поднялись,
а опустятся где-то за Нилом.

К ночи заморозки объявили.
Теплый свет
будет в окнах гореть.
Ну а им все лететь и лететь,
натирая до крови подкрылья.

Долетят, переждут... А потом,
грозовые заслоны минуя,
возвратятся на землю родную,
и уткнутся в асфальт и бетон.



Рисунки Александра Банных



ДОРОГА

Михаил МАЛАХОВ
Рисунки Олега Шапкина

ВО ТЬМЕ



Станция «СП-26», откуда начался наш путь, встретила рекордно низкой температурой. Полярники со значением сообщили, что вчера было минус 46. Станция — несколько полужансененных снегом домиков и палаток. Что вокруг, сказать трудно. Фонари освещают пространство рядом с жильем, а дальше — снежная темная завеса. Куда-то туда, в темноту, завтра надо будет уйти. Трудно представить, что нас ожидает, как дойти до Полюса недоступности, и даже не верится, что где-то дрейфует такая же вот станция, СП-27, на которой гадают — придем мы или нет. Но это все начнется завтра, а пока ребята собрались в теплых домиках. У хозяев интерес особый; кому, как не им, знать, что такое полярная ночь и дрейфующие льдины. Вопросов много, мнений тоже, но все сходится в одном — наша затея с переходом не простая. Честно говоря, не все даже верят в ее реальность. Но итог разговора был неожиданным. К Валере Кондратко подошел один из главных оппонентов метеоролог Борис Борзенко и протянул фотографию — большеглазый карапуз улыбается из детской коляски, попросил: передай товарищу на СП-27, пусть посмотрит, какой у меня сын растет.

В январе — марте прошлого года полярная экспедиция газеты «Комсомольская правда» прошла около семисот километров по льдам Северного Ледовитого океана от станции СП-26 до станции СП-27. Поход совершался в экстремальных условиях — в темноте полярной ночи. Маршрут проходил через Полюс недоступности.

Мы публикуем дневник врача экспедиции кандидата медицинских наук, ассистента Рязанского медицинского института М. Г. Малахова.

Перед сном провели небольшое собрание — распределили дела на завтра. Старт наметили сразу после обеда, первый рабочий день будет неполным — так легче втянуться. Долго размышляли с начальником экспедиции Димой Шпаро, как лучше идти в условиях ограниченной видимости. Пришли к выводу, и ребята согласились, что лучше разбиться на функциональные группы. Впереди Шишкарев, замыкающий Малахов, остальные по тройкам, во главе которых опытные ребята — Шпаро, Мельников, Леденев. У каждого свое место в строю. Такой же порядок сохранили и в палатке. Фонари, плавсредства и средства сигнализации также распределили, исходя из общего порядка. В предыдущих походах такого не было, определенное место закреплялось только за замыкающим. Но сейчас совершенно другие условия — ночь. Кто знает, может, мы и неверно распределились?

Быстро и как-то тепло познакомились с врачом станции Эдуардом Линкевичем. Он опытный полярный доктор. Эта его зимовка не первая. Поразительно, но оказывается, мы уже встречались, хотя даже и не подозревали об этом. И не в Арктике, а на другом конце земли, у берегов Антарктиды. Три года назад вместе с Леонидом Лабутным, Виктором Редькиным и Василием Шишкаревым мы возвращались домой из 28-й Советской Антарктической экспедиции. При пересадке с одного корабля на другой поменялись пассажирскими местами с Эдуардом Линкевичем, который шел на зимовку на станцию Новолазаревская. Но тогда знакомиться не было времени, и вот встреча уже у другого полюса — Северного.

Эдуард придирчиво осмотрел мою аптечку. В целом остался удовлетворенным, но кое-что добавил из своих запасов — пригодится.

Спать легли поздно — как всег-

да, перед походом масса мелких недоделок: кто пришивает дополнительную пуговицу, кто возится с креплением, кто лыжные палки метит. Это может продолжаться бесконечно. Последним в кают-компанию пришел Шпаро. Он грозно выразил свое недовольство. Все немедленно разбрелись по местам: Завтра — старт.

2 февраля.

Пятый день на маршруте. Впрочем, слово «день» для нас явно неприменимо. На какое-то время чуть светлеет горизонт на востоке, а в основном — темнота. Яркие звезды света практически не дают; луны нет. Мы и темнота. Она — главный враг на маршруте. Без преувеличения, самым необходимым элементом снаряжения стали фонари, в которых установлены морозостойкие батареи. Надежды на то, что глаза привыкнут к темноте, не оправдались — в совы мы явно не годимся. Даже Василий Шинкарев, вначале упорно надевавшийся на свое зрение, и тот без фонаря не забирается ни на один торос. Картина поразительная. В свете фонаря громады льда кажутся устрашающими, они набросаны в хаотичном беспорядке. И среди этого хаоса маленькие фигуры людей.

Володя Леденев, многие годы выполняющий обязанности кинооператора, вздыхает горестно. Я понимаю его — пропадают уникальные кадры. После долгих раздумий Володя, скрепя сердцем, кинокамеру на маршрут не взял. Впервые за все походы.

Честно говоря, вздыхать есть о чем и кроме кинокамеры. Катастрофически отстаем от графика. За вчерашние восемь ходок прошли лишь восемь километров. В среднем пока получается по 12—13 километров в сутки. А планировали по 20.

На маршруте всегда с нетерпением ждешь дневной стоянки с хорошим отдыхом, горячим чаем и вкусным творогом. Этого сейчас нет. Медленно разбиваем лагерь, еще медленнее проходят сборы в потемках. Пока ждешь чай, успеваешь так замерзнуть, что даже кипятком в чувство не приводит. Сегодня решили пройти без чая. 6 ходок преодолели относительно легко. Да и километраж пока рекордный — 21.

Темнота, чувствуется, действует и на психику. Нет веселых разговоров, взрывов смеха. Часто, на коротких стоянках на все десять минут воцаряется тишина. Многие засыпают. Даже во время ходьбы неудержимо клонит ко сну. Интересно, а ведь в спальниках мы сейчас проходим по 9—10 часов и с утра вста-

ем бодрее. Это явно утомление. Не рано ли?

4 февраля.

Беда, как говорится, не приходит одна. Третий день чувствует себя плохо Володя Леденев. Явления гастроэнтероколита. Подозреваем, отравился салом. Сало покупали в Москве, на рынке, у трех разных хозяек. Среди нормальных кусков попадаются какие-то не совсем обычные, на вид староватые. Не исключено, что у Володи — реакция на обильную жировую нагрузку, так как в нашем районе сдвиг сделан в сторону жиров. Как бы то ни было, Леденеву достается. Все за него переживают — Володя держится молодцом. Не в форме и Шпаро. Вчера у него поднялось артериальное давление, идет намного слабее обычного.

Сегодняшний день тоже закончился печально. Пять ходок прошли спокойно, потом вышли к большому разводью, шириной метров до 20. Оно чуть подернуто ледком, а посередине — предательская черная змейка. Значит, подвижка льдов продолжается. По берегам разводья — гряды торосов, прямо по краю. Решили обойти с юга. Целую ходку продирались сквозь частокол льдин, но ничего утешительного не обнаружили.

С Толей Мельниковым сделали разведку, проехали еще метров 300. Польнья раздваивается, перехода не нашли. Делать нечего — надо организовывать переправу на лодке. Но не тут-то было. Василий с трудом, ломая хрупкую ледяную корку, добрался до противоположного берега, а выбраться трудно. Решили попробовать в другом месте. Потянули лодку на себя. Веревка, неудачно расплавленная, зацепилась за надувной клапан и вырвала его. «Тяните», — каким-то сдавленным голосом крикнул из темноты Василий. Но и без того четыре пары рук лихорадочно перебирали веревку. Мокрого товарища вытянули на прочную льдину. «Срочно ставьте палатку!» — скомандовал Шпаро. Все засуетились, забегали. На небольшой льдине быстро появилась палатка, а вскоре приветливо загудели примуса. Василий переоделся: сменил носки, нижнее белье. Но верхняя брезентовая одежда, пропитанная морской водой, превратилась в ледовый панцирь. Запасной нет. Значит, надо идти в этой. Каково теперь Васе?

Что ни говори, а начало похода не простое. Но вспомнили, что все походы экспедиции по дрейфующим льдам начинались медленно, с трудностей. И в походе на Северный

полюс первым искупался тоже Василий. Прозорливый Хмелевский глубокомысленно произнес: «Следующая очередь — моя, так было в 1979 году».

Во время вечерней радиосвязи получили из Москвы уточненные координаты Полюса относительной недоступности. По официальной справке Арктического и Антарктического НИИ он оказывается севернее, чем предполагали. Штурманы Хмелевский и Кондратко прикинули на карте — если отойти от прямой СП-26 — СП-27, то будет лишний крюк на полторы-две сотни километров. Уже окончательно ясно — в первоначальные сроки не укладываемся. Правда, если отказаться от захода на Полюс недоступности, то... Но об этом никто и говорить не хочет. Самые ярые сторонники Федор Конохов и Леденев. Федор, как профессиональный художник, постоянно говорит о полюсе. Это его мечта с детства, он ведь с Азова, земляк Георгия Седова. Ну что же, маршрут увеличивается почти на две недели, хотя каждый день пребывания на льду — жестокое испытание.

8 февраля.

Сегодня с утра дежурил. Встал на полтора часа раньше. Ночь прошла крайне неприятно. Вчера стелиться начал уже после ужина. Обычно перед сном заледеневший спальный мешок (накануне по неосторожности пролил часть каши на спальник, и теперь он представляет собой ледяной ком) удается растопить. А здесь, после того, как погашены примуса, пришлось влазить в ледяной растроб. О сне вначале и речи быть не могло. Физически чувствовал, как ледяные иглы с разных сторон, почему-то большие спереди, впиваются в тело. Пришло сравнение — теперь хорошо представляю, как хранятся продукты в морозилке холодильника. Вспомнил эксперименты в Институте биофизики, когда мы почти полтора часа в обнаженном виде пребывали в микроклиматической камере при температуре плюс пять, дрожали тогда как основные листочки. Но сейчас это вспомнилось как чуть ли не развлечение.

В конце концов на какое-то время отключился. Потом проснулся и подумал: «А ведь так вот, наверное, и замерзают». В следующий раз очнулся от неимоверной тяжести в голове — Хмелевский, выползая из палатки по надобности, сел на голову (дежурный спит прямо у входа). Чертыхнулся, но, глянув на часы, даже обрадовался — время подъема дежурного. Хлопотное это

дело — дежурство. Весь день, как белка в колесе. Однако нет приятной ощущения, когда ребята накормлены, довольны и благодарят дежурного.

Кажется, набираем хорошие темпы. Пришла уверенность, опыт преодоления препятствий. А их вообще немало. Последние дни замучили трещины, разводя, молодой лед. Видимо, проходили границу раздела двух больших массивов льда. В сумерках непросто определить, какой это лед: выдержит ли он человека с рюкзаком и всех одиннадцати. Нужно чутье. И оно приходит. На днях прошли большой участок молодого льда, в отдельных местах разделенного свежими трещинами. Обход ничего не дал, пришлось выбирать наиболее узкое и крепкое место. Я привязал к поясу страховочную веревку и с опаской ступил на зыбкую поверхность. Двухметровые лыжи позволили перешагнуть через свежую трещину с водой, где лед напластован. Дальше вроде лед подтверже. Зашагал уверенней, проверяя палками впереди себя прочность ледяного покрова. Отошел метров двадцать, совсем было успокоился и даже часто засеменял, как вдруг что-то подо мной заходило, неприятный ход пронизал все мое существо. Мгновенно возникло желание рвануться вперед и пробежать оставшиеся до прочного льда метров пятнадцать. Но инстинкт, а может быть уже опыт, подсказал: «Стой!» Усилием воли подавил мимолетное смятение. Волна на льду успокоилась. Не торопясь, выверяя каждый шаг, проскользнул опасный участок и облегченно вздохнул. Не хотелось думать, что было бы, если бы поступил иначе. На таком расстоянии веревкой вытащить трудно. Потом, как сказал Володя Леденев, все было классически. Шли с лодкой под мышкой, другой рукой держались за натянутую страховочную веревку. Рюкзаки перетаскивали на саночках, в которых я везу часть груза. Последним шел Вася. Видимо, его смутил прогибающийся лед, и он бросился бежать. Мы со страхом наблюдали, как зашатался лед под его лыжами, готовый в любой момент треснуть. Но все обошлось благополучно.

Сегодня было второе купание. Провалился Хмелевский. Неверный шаг, даже полшага, и он оказался в воде. На этот раз все действовало четко и без паники. Юра потом сказал: «Понял, что самому не выбраться, барахтаться не стал.

Знал — вытащат». Вытащили, помогли переодеться, подсушиться. Потом пошли дальше.

Сегодня идти хорошо. Рюкзаки легкие, потому что продуктов практически нет. Завтра должен быть сброс с самолета. Это событие активно обсуждаем уже который раз. Особо трудный вопрос, что заказать в качестве дополнительного питания на дни отдыха. Бедный Саша Беляев, продуктовый завхоз, выслушивает десятки мнений и заказов, самых противоречивых и даже капризных. Аппетит «нагуляли» уже солидный.

В предвкушении отдыха и обильной еды все настроены благодушно. Даже 43-градусный мороз, пока рекордный, не испортил настроения.

10 февраля.

Желанный отдых. В палатке, накрытой дополнительно двумя парашютами, на которых нам сбросили все необходимое для продолжения маршрута. тепло. А обычно в палатке, когда гаснет примус, всего на 3—4 градуса теплее, чем на улице, правда, ветра нет. Сидим без шапок, варежек и даже свитеров. Удовольствие неизъяснимое — посидеть легко одетым.

С утра вместе с Сашей Розуменко произвели забор венозной крови. Полдня этим занимались. Усердно помогал нам Толя Федяков. В свое время он несколько раз, правда, неудачно, поступал в медицинский институт, долго работал санитаром в оперблоке. Результатами работы мы с Сашей в общем-то довольны. Смущает только одно — лишили ребят нормального завтрака, так как кровь брали утром, натощак. Ребята сидели на продуктах и не ели. Все довольно бурчали.

Вечером заполняли психологические тесты, измеряли толщину жировой складки. Последнее вызывает бурный интерес, особенно у тех, кто имел лишние килограммы перед походом.

Не прерываясь, шла бойкая радиосвязь с базовой группой. Пожалуй, впервые за весь маршрут сидели и раскованно беседовали, спорили, шутили. Горело несколько свечей, и наконец-то мы смогли просто посмотреть друг на друга. Все показались какими-то не такими. Потом понял — да заросли все. День за днем это было не заметно, а вот через две недели бросилось в глаза.

Хорошему настроению способствовали газеты и письма из дома, которые тоже прибыли с грузами на парашютах. Газеты читали кол-

лективно и бурно обсуждали. Письма вначале изучали индивидуально, а потом счастливыцы один за другим вслух читали дорогие строчки. Мне в этот раз письма не было, но с большим удовольствием слушал рассказы из другой, кажется, нам пока не доступной жизни. Диме Шпаро старший сын, Никита, в конце подробного отчета о своих делах написал: «Папа, будь мужчиной». Совет замечательный в наших условиях. Мельников прочитал стихи, написанные младшей дочкой. Всем понравилось, особенно последние строчки: «Пусть всегда будет солнце, ну хотя бы — луна!» Шестиклассница точно почувствовала нашу беду — отсутствие света. В течение дня несколько раз видел, как Толя Мельников достает из кармана «свои весты из дома» и подолгу читает, последний раз, когда уже все утомились на ночь.

15 февраля.

Стоянка у нас замечательная, прямо на Полюсе недоступности. Космический навигатор — радиобуй «Коспас» — зафиксировал выход в эту точку с точностью плюс-минус один километр. Провели митинг под флаштокотом, на котором развевался Государственный флаг СССР. Дали салют, пытались сфотографироваться при свете сигнальных огней. По случаю праздника Беляев выдал праздничный перекус, где фигурировали одновременно и шоколад, и творог, и конфеты. Довольные, сразу же заснули после вкусной еды.

Вот ведь как бывает. Вроде исключительное событие, а мы спим. Вначале как-то показалось странным, потом объяснение пришло. Все-таки полюс — не конечная точка маршрута. Впереди еще четыре с половиной сотни километров. Расслабляться рано. Здесь уж не до сильных эмоций. Сон — это награда за трудности. Это заслуженный отдых людей, честно сделавших свое дело.

19 февраля.

Утро началось, как обычно. Дежурный Беляев накормил всех вкусной овсяной кашей с молоком, мясом и маслом, которая день ото дня становилась все аппетитней. Все забралось вновь в еще теплые спальные мешки расслабиться на несколько минут. О дороге не думалось, хотя вчера остановились перед широкой полосой (метров до 100) открытой воды. Пробовали обойти — не удалось. Рассудив, что утро вечера мудренее, разбили лагерь на берегу этой своеобразной реки.

И вдруг — треск! Потом еще. Саша пулей выскочил сквозь узкий тубус палатки на улицу... «Трещина

справа, метрах в четырех,— услышали мы.— И слева тоже, рядом. Расширяются». Здесь уже не до расслабления. Мельников, у которого шел утренний сеанс радиосвязи, резко бросил в эфир: «Связь кончась». Представляю, в каком недоумении остался Петя Стрезев, наш базовый радист на СП-27.

Трещины действительно потихоньку расходились, а в полуметре внизу чернела вода. Сборы не были суетливыми, но самыми быстрыми — это точно. Когда недели рюкзаки, вспомнили о вчерашней полынне. Наш путь как раз через нее. С изумлением обнаружили, что полынни уже нет. Небольшая гряда мелко битого льда. Прошел и даже поступал лыжной палкой, как-то не верилось, что ничего нет. За ночь льды сомкнулись, и на месте развода образовались торосы.

28 февраля.

После отдыха рюкзаки потяжелели — продуктов взяли дней на 15. На днях была переправа через широкую трещину на плавающей льдине. Это уже потом поняли, что льдина на плаву. А вначале Вася Шишкарев и Саша Розуменко спокойно преодолели трещину по льдине, которая, казалось, намертво заклинилась между «берегами». Но уже следующий на противоположную сторону попасть не мог — растерзанная льдина стала разворачиваться и одним концом отплыла от берега. В спешке все перескочили на небольшой остров, и он поплыл, покачиваясь, по своеобразной реке. Мы молча смотрели на Василия и Сашу, которые стояли на прочном льду и, видимо, мучились сознанием, что ничем помочь не могут. Вспомнился Дед Мазай, который в разлив спасал зайцев на льдине. Видимо, со стороны наша льдина напоминала перенаселенный островок из знаменитого некрасовского стихотворения.

Избавление произошло быстро. Покрутившись, льдина заняла прежнее положение. Не дожидаясь окончательной природной милости, мы быстро соорудили настил из лыж и благополучно перебрались к своим товарищам.

Сейчас подобные переправы уже никого не смущают. Ребята действуют быстро и слаженно, с опытом. Но появилась боязнь за лыжи. Верные «Бескиды», испытанные в жесточайших условиях, и в этот раз не подводят. Однако за плечами больше полутысячи километров. Твердый лед обдирает скользкую поверхность лыж. На многих уже и не видно срединного желобка. Если раньше, ступая на «Бескидах», чув-

ствовали под ногами приятную упругость, то сейчас каждый прогиб лыж вызывает опасение. Недавно буквально рухнул в трещину Валера Кондратко. Не успел даже полностью нагрузить одну лыжу, как раздался сухой треск, и он полетел вниз. Стоявший на страховке Шишкарев быстро помог Валере. Пока ребята ставили крепления на запасную лыжу, мы с Володей Леденевым осмотрели обломки. На источенной лыже волокна имели другой ход, здесь же были и отверстия от шурупов креплений. Теперь остались три запасные лыжи и одна пара палок.

Неожиданно нагрянули морозы. Вот они-то сейчас явно ни к чему. Сегодня вечером на связи Петя Стрезев сообщил, что у них, на «СП-27», зафиксировано минус 50. Я пытался было пошутить, что весну встречаем рекордами, но особой поддержки не получил. Кто-то педовольно буркнул: «Поменьше бы таких рекордов!» Холодно. Мороз чувствуется каким-то особым состоянием, которое именуется «каленным». Рюкзак уже не греет. За пятидесятиминутную ходьбу согреться не успеваем. Положенные, и некогда желанные, десять минут отдыха не используем полностью. Все дружно вскакивают раньше срока и требуют от хранителя времени Шишкарева срочно отправляться в путь.

4 марта.

Морозы не унимаются. Активнее стал и ветер, сегодня он весь день дул прямо в лицо. Обморозились практически все. Буквально накануне вместе с Васей выразили надежду, что, может быть, вернемся с чистыми лицами, а сегодня вечером посмотрели друг на друга, на струпы на щеках и носу и промолчали. Арктика за годы ее активного освоения гостеприимней не стала. Чувствуем это на себе в полной мере. Никакого расслабления позволить не можем. Надеялись сэкономить немного бензина, но не получилось. Толя Федяков, преодолевая мощную гряду торосов, упал, от удара об лед раскрылась канистра, и половина запаса горючего вытекло. К тому же к концу дня сломались все примуса. Продрогание за день, сидели в палатке и долго не могли согреться, пока завхозу Леденеву не удалось зажечь наши «Шмели». Сразу стало веселее. Сделали перерасчет бензина — если не финишируем к назначенному дню, то придется ограничиться чуть теплой водичкой. На Федякова больно смотреть — переживает свою нерасторопность.

В незавидном положении Валера Кондратко. Сбил в кровь замерзшую левую пятку. Рана приличная. Каждый день делаю перевязки, но все равно Валере не сладко. Выбыл временно из строя Федор Конюхов. Прошел часть времени без брезентовых рукавиц, в одних шерстяных варежках и отморозил руки. Боясь за Толю Мельникова — у него синел палец на левой стопе. Хромает Шпаро, надо посмотреть, что с ногой. До СП-27 осталось 67 километров. А прошли уже более шестисот. Цифры несравнимые. Но никаких гарантий, что через три дня будем на станции, нет. Умом это все понимают, но так хочется быстрее финишировать...

6 марта.

Хочется думать, что завтра будем на станции. 26 километров отделяют нас от заветной точки, которая в течение 37 дней являлась нашим нереальным ориентиром. И сейчас она не стала осязаемой. Специфика путешествий по дрейфующим льдинам — постоянное напряжение, невозможность расслабления. Путь преградила большая, дымящаяся полынья. Попытки обойти ее оказались неудачными. Спать легли обеспокоенными. На исходе продукты, на исходе бензин. Лишних дней у нас нет. Но впереди — полынья. Может, закроется?

7 марта.

Финиш! Победа! Мы на СП-27. За 500 метров до станции, за последним торосом, Дима сказал: «Ребята, давайте поздравим друг друга». Два десятка лыж причудливо переплелись по кругу. Второй раз за весь маршрут вот так, непривольно, мы образовывали дружеский круг. Первый раз это было 16 февраля, на Полуе относительной недоступности. Руки и плечи ребят слились в единый монолит. Мы наклонились вперед, стремясь быть ближе друг к другу. Подумалось: вот так ведь и на маршруте. Сколько раз нас всех вместе и каждого в отдельности сгибало и ломало, но не ломало.

На маршруте откровений не было. Но в эту минуту ребята говорили друг другу хорошие, самые искренние слова. Я видел повлажневшие глаза Юры Хмелевского, слышал взволнованный голос Димы Шпаро, чувствовал крепкое рукопожатие Васи Шишкарева, ощущал безграничную радость Толи Мельникова. Я смотрел на такие знакомые и сейчас немного другие лица друзей и легко читал выражение счастья.



Виталий КАНДЫБА

ДАЛЬНИМ ВОСТОКОМ ПРИЗВАННЫЙ

Когда художник оставляет привычные места, чтобы жить и творить в совершенно новых условиях, он как бы рождается второй раз. Так произошло с Василием Никаноровичем Дорониным, уроженцем среднерусской земли, уехавшим по окончании Московского художественного института имени В. И. Сурикова на Дальний Восток, который еще недавно (по меркам истории) был «terra инкогнита» в художественном смысле, и лишь с 50-х годов попал в орбиту республиканских и всесоюзных выставок. Здесь все было молодо — живописцы и творческие союзы. Естественно, дальневосточную художественную жизнь, подобно Комсомольску-на-Амуре, строили молодые. И если Доронин — художник, так сказать, своей традиции, то этим он обязан природе и людям края, принявшего его.

Дорогая память студенческой молодости — пейзажи владимирской стороны висят в его мастерской. Их лирическая созерцательность очень далека от коренных свойств художника-дальневосточника Доронина. И что удивительно, при таком творческом запеве он, по приезду на Дальний Восток, почти сразу сжился с новой природой, в первых же работах точно приметил ее характерные черты.

Художник вспоминает: «Я увидел природу немногословную, местами почти аскетичную, скупую на тонкое разнообразие. Главное в ее характере — иной во всем масштаб в сравнении со средней полосой России. Простор здесь просторнее, высота куда как выше. Ряд явлений и вещей приобретают здесь масштабы стихии. Вода — так это океан, а не озеро; лес — так это океан лесной; плавные всхолмления Подмоскovie здесь для меня обернулись вулканами и сопками. Одним словом, иной мир, который я полюбил сразу, как говорится, с первого взгляда».

Доронин при первой же встрече с местной природой сформулировал для себя идею пейзажа Дальнего Востока: богатырская мощь пространства, стихийная сила природы, первозданность, еще не окультуренная и не подавленная воздействием человека в недобрый для нее XX век. Эта романтическая сторона удивительно соответствовала художественному складу Доронина, который не приемлет бытовизма и прямой передачи повседневности. Искусство, по его убеждению, это выражение духа нашего времени, его запечатленный образ. Жажда современности выражена у художника четко и программно. Она видна не только в его темах и констатации примет времени. Он ищет обостренную изобразительную форму, некий сгусток напряжения, переживаний и мыслей.

...Еще до того, как Вася Доронин захотел стать художником, жизнь не поспешила на впечатления. Всего десять дней родной Новомосковск удерживали фашисты, но подростку довелось увидеть из толпы земляков, согнанных под виселицу, казнь партизана. С тринадцати лет до последнего дня войны Вася, ученик вечерней школы, работал слесарем на заводе и, разумеется, выполнял взрослые нормы. Работал для фронта, работал за отца, погибшего в 42-м, работал нешуточно, иначе бы не получил медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Слишком много было пережито с детства, чтобы, став художником, относиться к искусству без страсти, без верности заветной цели. Анемичная безликость — самый тяжкий грех для художника.

Картиной «Владивосток. 20-е годы» Доронин, одним из первых в 60-е годы, открыл путь к развитию тематической картины нового склада в Приморье и начал свой творческий отсчет. Она — не только рассказ о патруле и метельном вечере, но и образ всей революционной страны. Картина показала, а последующие полотна подтвердили, что Доронин — образно мыслящий и сильно чувствующий художник. Эти качества отчетливо видны в лучшей и до сих пор работе из приморской Ленинианы — «Ленин. Все на защиту Отечества» (1969 г.). Выпуклая яркость образов, страстная энергия ленинской речи захватывают нас, а Вождь, оставляя за собой десятилетия, обращается в наш день, к нам. Прошлое дано как бы в настоящем времени.

Можно заметить, что обычный художественный отбор сопровождается у художника еще избирательностью в области содержания, отдается приоритет высоким чувствам, идеям и состояниям. Это позволяет с определенной долей условности назвать Доронина художником романтического склада. Правда, в отличие от классических романтиков им движет не «тоска по идеалу», а вера в реальное его существование в повседневной советской жизни. Поэтому и в его портретах всегда — масштабность, приподнятость. Персонаж интересует художника прежде всего как «человек общественный». Это — герои нашего времени. В принципе, генерал Богатырев не превосходит бригадира строителей Грину, а та, в свою очередь, художника Ковалю своей внутренней значительностью и общественным весом. Все они — «генералы» от своих профессий. Недаром изображение Ковалю с полным основанием названо «Портрет моего современника». И даже «Юный яхтсмен», паренек, как будто не имеющий явного социального содержания, несет те же черты, необходимые для понимания нашей жизни. Мальчик — не просто «узко» увиденная личность. Он — особое состояние человеческого детства, окрыленной полетности, пробуждения мысли и открытия мира.

Учащенный пульс, темп жизни нашего века прослушиваются в полотнах Доронина, видится особая динамика восприятия им мира. Потому и опускается избыток деталей, бытовых подробностей. Художника никогда не искушали занимательные частности, которые могли бы «утеплить» работы. У Доронина сложился другой навык восприятия пространства. За пять лет службы в авиации он насмотрелся на землю из-под стратосферы, когда земля круглится глобусом и на огромной скорости отлетает под самолет. В этой грандиозной панораме самая яркая деталь как бы исчезает в величественном целом. И как ни странно это будет звучать, авиация — концентрат всего самого современного — внесла свою долю в становление художника.

Живописный почерк Доронина своеобразен. Его картины узнаются на расстоянии в любой экспозиции по решительным цветосочетаниям крупных пятен. Живопись не поет оттенками — звучит сильными аккордами, преломляет реальный цвет, насыщает его декоративной силой, делает его обостренно-выразительным.

Нет мастерства годного на все случаи жизни, а Доронину не нужно вообще обезличенного мастерства, в основе которого общепринятые академические истины, в пределах школьных правил. Они в прошлом, они — фундамент ученичества, чтобы потом работать по Пушкину, то есть по «законам, поставленным художником над самим собой». Но если неповторимость в жизни мы вынуждены терпеть, то в искусстве мы реже придерживаемся терпеливого понимания. Всегда найдется кому сказать, что полотно Доронина незавершенны, а он-то специально шел к такой «незаконченности», к открытой, динамичной, импровизационной и импульсивной живописной форме. И понадобилось это для соответствия формы и содержания, при своем понимании природы и человека на Дальнем Востоке. В этой «незавершенности» что-то от непрерывного становления и развития. Особенно в пейзажах. Как будто на глазах все переделяется, готово принять новые формы и оттенки. Слово непрерывный ток жизни, стихийное развертывание сил природы («Перед штормом»). Доронин своими полотнами говорит: где еще, в каком месте страны человек вот так — один на один — противостоит стихии, как на рыбацком ли сейнере, в таежной ли геологической партии, в жизни на островах, рыбкомбинатах, на границе!

Как-то в мастерской художника остановился иногородний художник. Уходя домой, Василий Никанорович беспокоился: «Заскучаешь тут в одиночестве».

— Да что ты, — был ответ. — Твоя мастерская — целый мир!

И я взглянул глазами приезжего на давно знакомые стены, ухидившие под потолок на пятиметровую высоту: одна к другой висели по периметру мастерской доронинские картины. И вдруг в какой-то миг все они слились для меня в одну, в один волнующий образ Дальнего Востока. Как во фреске, здесь имелаась и ведущая идея, и творческие убеждения, сам художник, его одухотворенное отношение к природе. И подумалось, что искусство начинается с отношения к этому миру, с задач, поставленных перед собой сегодня и на всю творческую жизнь.

Творчество Василия Доронина представляется органическим порождением Дальнего Востока. Думаается, придет время, когда в истории нашего искусства будет мало одного общего понятия — «советское русское искусство». Мы будем говорить о его региональных разновидностях: уральском, сибирском, северном, дальневосточном.

Г. А. ГРИДИНА,
бригадир отделочников, лауреат Государственной премии РСФСР. 1979.

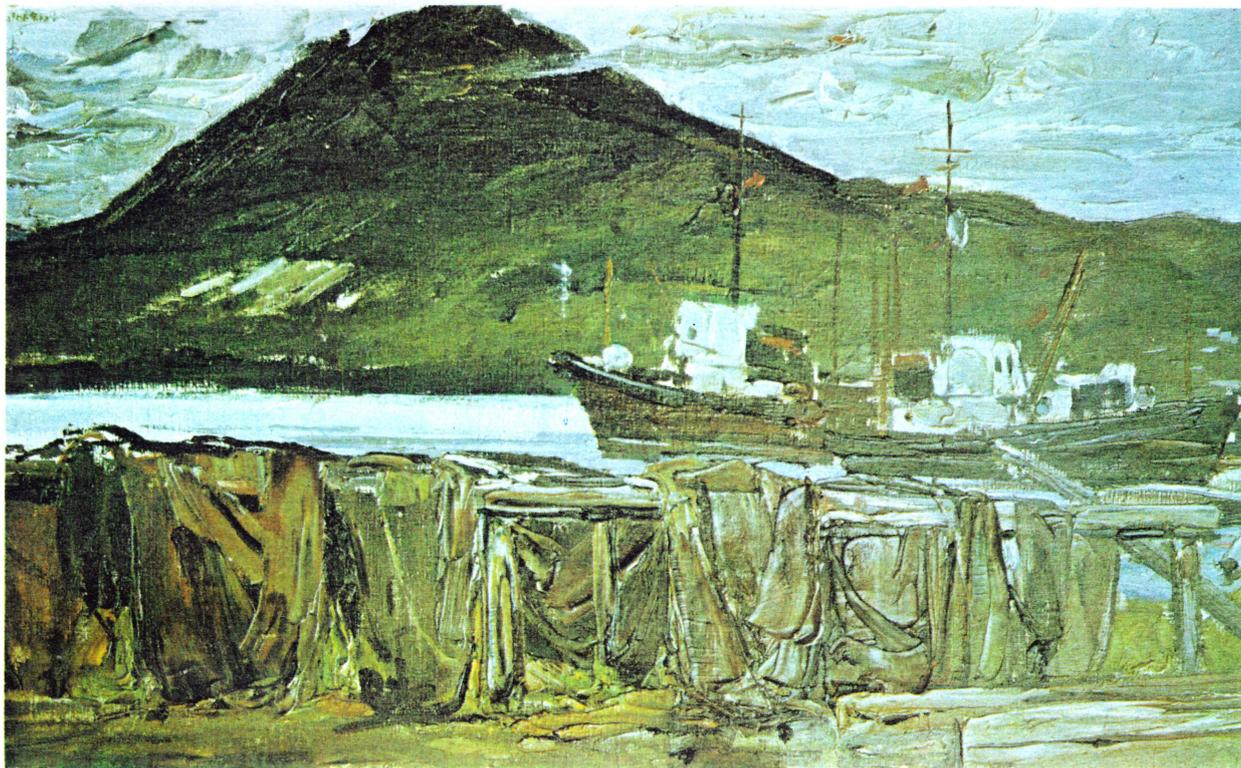


БУХТА ПОДЪЯПОЛЬСКОГО. 1974.

ЮНЫЙ ЯХТСМЕН. 1985.



ОСТРОВ ПУЛЯТИН. СЕТИ. 1978.



ГЕНЕРАЛ БОГАТЫРЕВ. 1975.



ДЕНЬ СВЕРШЕНИЙ

Виктор ЖИЛИН

Рисунки Яны Ашариной



Повесть

Канал вел к столице. Раден сказал, что раньше по нему спускались сточные воды из города. Теперь, само собой, его перекрыли — Сферополис имел два ряда мощных крепостных стен, которые возвели сразу после Второго крестового, когда объединенные отряды Хизмы взяли столицу штурмом и удерживали ее почти неделю. Страшная, рассказывают, была резня, весь этот канал был завален трупами, нечистоты затопили долину. Только в ночь на седьмые сутки кругачи отбили город, выбросив воздушный десант прямо на крыши домов. Древневерские кресты с распятыми хизмачами потом протянулись по всем главным трактам Семисферы.

По словам Радена, где-то недалеко в канал входила сточная труба, которая соединялась с подземными коммуникациями столицы. Раньше, лет пять назад, этим путем отверги тайно проникали в город. Потом кругачи заделали выход, но все-таки это был шанс: может, удастся пробиться в другом месте?

Перед Стэном маячила обтянутая блестящим комбом спина Яна. Дальше, тяжело дыша, топал Раден, часто оборачивался, переговаривался с Яном. Первое время Стэн прислушивался, пытался понять — пустое занятие! Речь шла о каких-то уравнениях, константах, коэффициентах и прочих вещах, абсолютно чуждых Стэну. Это злило, к тому же мешало слушать, что делается вокруг. А ведь кругачи вполне могли организовать погоню.

Они прошли около трех сферомиль, когда Бруно неожиданно остановился, поджидая остальных.

— Да, это где-то здесь, — сказал Раден, оглядывая первый склон. — Только заросло сильно...

Канал в этом месте расширялся, видимо, размывтый весенними паводками. Дно было завалено рухнувшими деревьями, колючий кустарник стоял сплошной стеной.

— Не нравится мне здесь, — процедил Бруно, подозрительно крутя головой. — Ну-ка, Стэн, разведай, что там наверху?!

У Стэна ёкнуло сердце: Бруно зря не скажет. Прислушиваясь, осторожно полез по склону. В густой траве звонко пели цикады, в листьях акаций гулял ветер. Снизу доносилось тяжелое астматическое дыхание Радена.

Стэн вылез наверх, опасливо раздвинул кусты. Перед ним расстилалась гладкая равнинная чаша без краев с редкими низкорослыми рошицами. Правее лежали развалины брошенного городка, откуда они только что чудом унесли ноги. Над развалинами стелился мощный шлейф дыма. Слева, совсем недалеко, коричневой пеленой вспучился лес, испещренный зелеными пятнами болот. А за лесом, где-то в конце канала, размытая сизой дымкой, вздымалась громада Сферополиса. Стэн видел столицу первый раз и не мог отвести глаз: вот это колосс! Сколько ж там народу живет, жуть!..

Вокруг было пустынно, и он уже хотел спускаться, когда краем глаза уловил какое-то движение справа. Оглянулся — и обмер!.. Из-за куста акации точно в лоб ему смотрел черный зрачок автомата. Показался солдат в пятнистой форме, быстро приложил палец к губам: «Молчать!..»

Засада, пронеслось в мозгу у Стэна. Напоролась!..

Солдат качнул стволом: «Вылезай!..», на мгновение скосил глаза вниз, в канал. И тогда Стэн, не помня себя, оттолкнулся коротко, упал спиной назад.

— Кругачи-и!!! — взвизгнул на лету не своим голосом, грохнулся спиной о склон, покатился кубарем. И тут же застучало, загрохотало со всех сторон. Что-то больно садануло в спину: раз, другой! Почувствовал: не пробило! Выдержал комб, выдержал...

Ломая кусты, слетел на дно, юркнул куда-то за поваленный ствол, затаился. Палили сразу с обоих склонов: сколько же их?.. Сбоку, за гли-

Окончание. Начало см. в № 2.

няным пригорком, вжимались в землю Ян и Лота. Автоматные очереди прошивали воздух над их головами, секли кусты. Бруно куда-то исчез — вероятно, нырнул в заросли. К молодым по открытому пространству полз Раден, неумело загребал локтями. Он лез прямо под пули.

— Куда-а?! — надсаживаясь, закричал Стэн. — Назад, назад!

Старик словно не слышал, упрямо полз к пригорку. Стэн увидел, как тенью метнулся вперед Ян, упал на Радена, прикрыл. «Сумасшедший!..» — мелькнуло у Стэна.

Откуда-то выскочил Бруно, коротко взмахнул рукой. Слева и справа беззвучно полыхнули молнии, ослепили. И сразу стрельба захлебнулась. Все смолкло. Стэн с опаской приподнялся.

Из кустов на склоне медленно, головой вперед, вывалился солдат, покатился вниз. Рядом скользила винтовка. «Лихо! — мелькнуло у Стэна. — Неужто все так!..»

Он осторожно выполз из-за ствола, встал — ноги подрагивали. Тишина оглушала, болезненным пульсом отдавалась в затылке. Сильно болело под лопаткой. Попали все-таки, гады, подумал он. Но комб-то, комб!.. Ведь никакая пуля не берет!

Бруно стоял в напряженной позе, голова, как на шарнирах. Ян с Раденом тяжело возились в траве, мешая друг другу. Старик задуженно хрипел — никак не мог встать. К ним спешила Лота. «А ведь легко отделались!» — подумал Стэн, идя за Лотой.

— Пстой! — Бруно поймал его за плечо, приказал коротко: — Осмотри заросли! Найди выход!

Стэн молча подошел к убитому солдату, подобрал винтовку. Мордатый прав: вдруг кто-нибудь уцелел?.. К тому же — сматываться надо отсюда, да побыстрей! Пальба, небось, в городке была слышна!..

Осмотрев винтовку — ничего вещица, не хуже ялмаровской! — Стэн быстро, но тщательно прочесал заросли на обоих склонах. Засада была организована грамотно и, видимо, недавно. Всего он обнаружил шестерых солдат в странной пятнистой форме — бог знает, что за часть?! Они лежали навзничь в тех позах, в которых их застигла внезапная смерть. Удивительная смерть — ни ран, ни крови, словно громом убиты. И ведь на Комбинате было то же самое — все мертвые, а крови нет. Чем же это их Бруно?..

Вход в трубу оказался за густой порослью чертова куста: круглая черная пасть с тяжелым запахом ржавчины и тления. От одной мысли о том, что туда придется лезть, по спине Стэна поползли мурашки.

Он вернулся к завалу. Раден уже сидел, привалившись к поваленному стволу, держался за сердце. Лицо — будто пеплом присыпано. «Плохо дело!» — подумал Стэн.

Ян почему-то все еще лежал, и над ним низко склонились Бруно с Лотой. У Стэна кольнуло сердце: неужели?! Да нет, он же в комбе!..

На негнущихся ногах подошел ближе, заглянул. Весь правый висок Яна был разворочен, лицо залито красным. «В голову! — холодея, понял Стэн, оглянулся беспомощно. — Как же это?»

Он добрал до Радена, опустился рядом. Стэн видел рану всего миг — этого было достаточно. Ян умер мгновенно, не мучаясь, уж в таких вещах Стэн разбирался. Вот тебе и легко отделались!..

Он смахнул пот с лица — губы были соленые; отчаянно ныла спина, кожа на лбу и щеках горела, как обожженная. Рядом мелко и часто дышал Раден — будто собака на жаре. Не отрываясь, мутно глядел на тело в траве.

Несколько минут Стэн просидел, не шевелясь. Мыслей не было, какие-то обрывки — пустые, глупые, идиотские... Что-то надо было делать, куда-то идти, где-то прятаться. Соображалось туго. На Радена надежды нет — сам на ладан дышит. Эти зачем-то с мертвецом возятся, кругачи рядом...

Стэн заставил себя подняться, подошел ближе. Лота сидела на корточках, будто оцепенев. Длинные волосы скрывали лицо. Мордатый, низко присев, деловито копался в ране — прямо толстыми, грязными пальцами.

Стэна передернуло: они сошли с ума! Схватил Бруно за локоть:

— Брось!.. Его похоронить надо!

Не оборачиваясь, Бруно отпихнул его — словно щенка. Не устояв, Стэн упал в траву. Лота даже не шелохнулась.

Стэн вскочил, тяжело дыша — перехватило горло.

— Оставь их!.. — прохрипел Раден сзади. Он держался за сердце, серое лицо перекошено.

«Ладно, — подумал Стэн, — значит — все!.. Вот и хорошо!»

Он закусил губу, в горле почему-то стоял тугой комок. Вернулся к старику — на того было жалко смотреть. Он уже не столько дышал, сколько хрипел.

Сбегав к ручью, Стэн зачерпнул в кепку воды, плеснул Радену в лицо, намочил затылок. Бруно и Лота по-прежнему сидели в траве, у тела.

«Ну как хотят! — подумал Стэн. — Бог с нами!..»

Он наклонился, кое-как поднял Радена на ноги.

— Пойдем-ка...— сказал, подсовывая плечо.— Чего здесь сидеть?!

С трудом потащил вверх по склону — старик висел на нем мешком, таращился через плечо назад, что-то пытался сказать...

Стэн сам не знал, зачем прихватил с собой Радена. Не хотелось оставлять его кругачам — ведь это значит: люстрации! Еще больше не хотелось уходить одному. Если старик отлежится, можно будет податься к хилястам, о которых он говорил. Самое время найти какую-нибудь нору поглубже, выждать, затаиться, пока все затихнет. О столице-то сейчас нечего и мечтать... Ну а дальше — посмотрим!

РАДЕН

Ночь застала их в лесу, в небольшой ложбине, куда Стэн свалился, споткнувшись о бурелом, да так и остался — не было сил даже шевельнуться. Было тихо, только где-то в чащобе, откуда тянуло болотной сыростью, утробно ухала ночная птица выпь. Пахло смолой, прелью, грибами. Раден лежал на влажном мху, вытянув руки вдоль тела; толстые щеки сильно отвисли, глаза полуприкрыты; дышал он редко, со стоном.

Стэн уже давно сообразил, что все зря: старик не отлежится. Похоже, это конец. Слишком много на него сегодня свалилось: разгром, труба, засада, Ян... Это при больном-то сердце. Может, лекарь где-нибудь в городе и помог бы, подумал Стэн, а здесь все, крышка, пора молитвы читать. Хотя — какие молитвы, не нужны ему никакие молитвы: еретик ведь!

Где-то далеко ударила длинная пулеметная очередь, раскатилась эхом на весь лес. У канала, определил Стэн. В кого это они?.. Неужто тех двоих еще не взяли?! Ладно, не его это дело, мордатый сам пусть думает, ежели такой умный. Удирать надо, а он какую-то идиотскую возню затеял. Может, они из какой-нибудь тайной секты, вдруг у них там покойников вообще не хоронят: какие-нибудь свои ритуалы...

Стэн поправил ночные очки, наклонился к старику. Раден беззвучно шевелил губами, уставя неподвижный взгляд в ночную сферу. Вздохнув, Стэн обхватил себя руками, съежился. Да, очки эти чудесные он все-таки сохранил. Выходит — на память! И еще — чехол. Так и протаскал весь день, не снимая. Между прочим, потому и жив до сих пор. Там, в вертолете, в него попало, и в канале — дважды; да еще грохнулись в развалины эти — машина вдребезги, а им всем хоть бы что, даже не поранились! В общем, не простые это чехлы, с секретом. И от пуль пре-

дохраняют, и разбиться не дают... Кому скажешь, ни в жизнь не поверит! Как они тогда в кабине раздулись — будто мячи резиновые! Это, значит, чтоб падать не больно. М-да... А вот Яну не повезло, прямо в висок, как на заказ, и комб не спас. Надо было ему соваться под пули, идиоту, старик вон все одно богам душу отдает, кстати, это смерть Яна его скорей всего доконала, уж очень он прикипел к желторотому. Выходит, судьба у них такая, столько, значит, боги им отмерили...

— Стэн?! — вдруг отчетливо позвал Раден.— Ты где?

Старик незряче шарил перед собой руками, хватал воздух.

— Здесь, я здесь! — Стэн сжал старику ладонь, ужаснулся: как ледышка.— Ты лежи, лежи...

— Стэн, мальчик,— с натугой заговорил Раден,— слушай меня внимательно... запоминай! Мы считали, сфера — это навечно! Как проклятье, за грехи наши... Там, за сферой, была война. Давно... Атомные мины... мы были обложены со всех сторон — минный пояс! Они взорвались одновременно... резонансная волна... накрыла страну, понимаешь?.. Пространство выродилось, думали — навсегда!..

В горле у него захрипело, забулькало; скрюченными пальцами Раден дернул ворот рубахи.

— Чепуха! — вдруг выдохнул громко.— Процесс обратим, слышишь?.. Мы вернемся — обязательно!

Руки обессиленно упали на мох, широко открытые глаза уставились в пустоту ночи.

— Я, старый осел, не догадался,— продолжал совсем тихо.— А он — смог!.. Так просто: обратная связь... Мы никогда не порывали полностью, это — псевдоколлапс! Энергия проникает, сфера проницаема... Иначе — тепловая смерть, смерть...

Раден говорил все тише, Стэн еле улавливал, ничего не понимал: может, бредит?

— Держись их, Стэн! — вдруг услышал явственно.— Они из тебя... человека сделают!.. Иначе — пропадешь!

Старик всхрипнул, дернулся — затих. Стэн, выждав с минуту, наклонился: Раден больше не дышал.

Обхватив колени руками, Стэн долго сидел на поваленном стволе, глядя на заострившееся лицо старика. Как странно, думал он, всего-то полдня прошло, а кажется — родного потерял! Вот ведь сволочной закон! Почему вдруг прикипает сердцем неизвестно к кому?.. Ну кто он мне?.. Умный — да, спору нет, на деда чем-то похож, но ведь еретик! Мне бы от него подальше, отмучился — и ладно, примите, боги, душу

грешную и будьте милостивы! Так нет же: ведь теперь до смерти его не забыть! Как и Яна... Вот тоже — не друг, не брат, вообще непонятно, кто и откуда! Может, для меня это как раз лучший выход: как бы еще все повернулось, останься он жив? Они ж и впрямь психованные: как пить дать, в город бы поперлись и меня бы с собой прихватили... Все понимаю — а жалко. Засело где-то внутри, что, может, это лучший из парней, кого я в жизни встречал. Это надо же: собой прикрыть старика чужого! Что ни говори, у нас здесь таких не сыскать... Вот ведь какие дела... Одержимые они — вот что! Это у них общее, у Радена и у тройки! Потому, видать, и сошлись, хотя цели разные. Отверги — понятное дело, им главное — распространить свою ересь, святой храм свалить; что тройка задумала — неясно, только сдается, что их цель еще пострашней, недаром кругачи так всполошились!..

Потом Стэну вспомнилось, как отпихнул его Бруно — молча, между делом. Как от надоевшей мухи отмахнулся. А Лота даже глаза не подняла, пустое место он для нее: что есть, что нет... Не в себе они были — это понятно, но все же нельзя так, не собака он им. Эх, да что говорить!..

Стэн просидел так долго, думая о разных вещах, прикидывая. Идти никуда не хотелось, да и куда идти?! Столица — отпадает; обратно в горы, к ватажникам? Нет уж, сыт по горло... В общем, хоть здесь живи, в лесу, со зверями дикими! Прав Раден: так и в самом деле пропасть недолго. Решаться надо...

Он встал через силу, наломал лапника, плотно прикрыл тело Радена — могилу вырыть было нечем, одна винтовка с собой. Постоял перед темным холмиком, вдыхая резкий запах свежей хвои. Что-то сосало под сердцем: неприятное, смутное... Может, и впрямь поискать этих, мелькнула шальная мысль. Все одно, деваться некуда, так хоть взглянуть на них в последний раз! Вдруг лежат они там, в канале, и прикрыть-то некому?!.

Больше не раздумывая, Стэн двинул сквозь густой подлесок туда, откуда раздавались давешние выстрелы, с каждым шагом убеждаясь все сильнее, какого дал маху, оставив Лоту с мордатым. Перед глазами против воли всплывали дикие картины — одна страшней другой.

Лес спал, угомонились даже ночные птицы, чуть потрескивала сухая хвоя под ногами. Узкая звериная тропа причудливо петляла меж толстых замшелых стволов.

Он успел пройти всего сотню-другую шагов, когда впереди что-то слабо клацнуло. «Затвор!» — мелькнуло в мозгу. Нырнув в сторону, Стэн затаился, сжимая в руках винтовку.

— Эй, вылезай! — раздалось с тропы. — Свои!.. «Бруно! — Стэн перевел дыхание. — Значит, они его искали...»

Мордатый стоял поперек тропы, держа на руках Лоту — легко, играючи. Она обхватила его шею руками, бледное лицо было обращено на Стэна, громадные белки глаз будто светились.

— Что с ней? — вырвалось у Стэна. — Ранена?

— Тихо! — шикнул Бруно. — Не ори!.. — Он разжал руки, Лота соскользнула на землю, встала, поджав одну ногу. Придерживая девушку, Бруно достал трубку, сунул в рот. — Ногу она малость того... — сказал, раскуривая. — Видать, переломчик небольшой... — Он выпустил дым, оглянулся. — Но это ерунда, — добавил рассеянно. — К завтраму пройдет...

Точно — чокнутый, пронеслось у Стэна. Если перелом — месяц, как минимум. Как же теперь?..

Лота вдруг легко прыгнула вперед, вцепилась ему в плечи. Лихорадочно блеснули глаза — совсем близко.

— Где Раден? — прошептала торопливо.

Стэн судорожно вздохнул, качнул затылком назад: «Там!..»

— Умер???

Он молча кивнул. Почему-то было страшно смотреть ей в глаза.

— Когда?.. — Стэн почувствовал, как судорожно сжались ее пальцы. — Ну же?..

— Час... нет, два назад! — с трудом выдавил Стэн. В горле стоял спазм.

— Поздно-о! — вырвалось у Лоты со стоном. — Ведь чувствовала же...

Она круто обернулась. Бруно тут же подхватил ее на руки.

— Вот что... — бросил отрывисто. — Отведи-ка нас к нему! Только быстро...

Плохо соображая, Стэн пошел назад. В спину подгоняли торопливые шаги Бруно.

Не без труда отыскал ложбинку в чащобе, невысокий холмик. Прислонив Лоту к стволу, Бруно тут же разворочил лапник. Вместе с Лотой склонился над Раденом.

«Да что они, не верят, что ли?! — подумал Стэн. — Совсем обалдели!..»

Через минуту оба выпрямились, Бруно хмуро покачал головой, сунул в рот трубку.

— Да, поздно... — мертвым голосом произнесла Лота, глядя в землю. — На полчаса бы раньше!..

Какое там полчаса, хотел вскрикнуть Стэн, но промолчал. Понял: не в себе она. Ян, да еще Раден — небось, к смертям-то не привыкла!

— А ведь я могла спасти его, — вдруг сказала отчетливо. Подняла глаза. — Надо было только увидеть!.. Никогда себе не прощу!

Что-то такое у нее в голосе было, что Стэн сразу поверил: да, могла! И не простит, конечно... Белые неподвижные глаза Лоты теперь смотрели на него. Стэн невольно поежился: странный взгляд, непонятный. Вроде добрый и в то же время — гневные искорки в глубине.

— Я понимаю — ты хотел как лучше, — сказала негромко. — Только... только зря ты его увел!..

Стэн потряс головой — почему зря?! Ведь кругачи же! Не до старика им было — слава богам, сами живы! Да еще нога...

— Ладно! — подал голос Бруно. — Чего уж там... — Он подхватил Лоту за талию, усадил на поваленный ствол. Присел рядом. — Передохнем малость...

Вообще-то, конечно, зря, мысленно согласился Стэн. Останься он, может, и нога у Лоты была бы цела.

Лота сидела сгорбившись, спрятав лицо в ладони, чуть качала туловищем — взад-вперед. «Плачет!» — понял Стэн. Что ж, пусть выплечется, авось полегчает. Может, Ян для нее самым родным человеком был, может — любила его. Что он о ней знает?! По сути — ничего, ведь до сих пор темнят, скрывают, хотя чего уж теперь-то скрывать, все равно не выгорело у них: Яна потеряли, да еще Лота...

— Стэн, — вдруг негромко позвал Бруно. — Давай-ка сюда!

Стэн подошел ближе, присел на корточки перед ними. Лота отняла ладони — громадные глаза были сухи. Отвердевшее осунувшееся лицо будто враз постарело. Хмурый лоб прорезала решительная складка. Стэн невольно поджался — такой он ее еще не видел. Перед ним сидела не потерявшая голову от горя девица, а собранный, готовый на все человек, который твердо знает, что и как...

— Вот что, парень, — сказал Бруно, выковыривая прутиком пепел из трубки, — давай начистоту!.. — Он покосился на Стэна, продул мундштук. — Положение тебе известно... Яна больше нет, у Лоты — нога... В общем — хреновое положение. А дело делать надо! Соображаешь?

Стэн облизнул пересохшие губы: неужто в столицу пойдут?! С этих одержимых все станется!..

А Бруно неторопливо раскурил трубку и негромко, будто для себя, заговорил о том, что есть на свете дела, которые хоть умри — а сделай, и вот у них как раз такое дело, к тому же не все так безнадежно, как он, Стэн, наверное, себе представляет, умелого человека никакие стены не остановят — если с умом, конечно... Короче, есть тут у них одна мыслишка — на край-

ний случай приберегали! — в два счета можно в столице оказаться, доставят, как говорится, с музыкой, вопрос только в том, что с ним, Стэном, делать, ведь если честно — проводник им не больно-то нужен, просто жалко его стало — парнишка-то он неплохой, о засаде предупредил и вообще — вот и взяли с собой, чтоб не пропал, как те, на Станции, ведь сфероносцы уже давно за тройкой охотятся, все обложили... Ну а теперь, когда нет с ними Яна и Лота покалечилась, он, Стэн, очень даже может пригодиться, так что пусть сам и решает: или дальше с ними, или — вольному воля, удерживать его они не станут, опасное дело затеяли... Правда, и здесь скоро жарко станет: кругачи весь лес обложили, не прорваться одному, они сами-то еле-еле вырвались, вон Лота чуть ногу не угробила, черт знает сколько времени потеряли, пока по лесу петляли, чтоб не навести солдат на их с Раденом след, а он, бедолага, и помер, и теперь уж, как говорится, даже боги бессильны... Вот Лота и убивается, клянет себя, потому что всего-то и делов было — сунуть Радену пилюльку от сердца, и был бы он сейчас жив-здоров, а вот не успели, прошляпили: сначала надеялись Яна вытянуть, потом надо было еще кое-что сделать, очень даже срочное, да тут еще он, Стэн, под ногами крутился, лез со своими похоронами, мешал. Одним словом, пока то да се, Стэн с Раденом и смылся, а потом — кругачи, ну и понеслось...

Бруно еще что-то говорил, но Стэн уже не слушал. Так вот в чем дело, вот почему Лота на него так смотрела!!! Выходит, он сам, на собственном горбу, Радена на смерть уволок!

Стиснув зубы, Стэн затряс головой: тупица, болван, пень безмозглый — сунулся, просили его! Ведь угробил старика, как есть — угробил!

— Кончай башкой трясти! — бросил Бруно. — Сейчас не до переживаний!.. Решать надо, парень: с нами или как?..

Стэн вскочил на ноги, закурил губу. А его, значит, пожалели, прихватили с собой, как приبلудную собачонку. Он-то, придурок, черт-те что вообразил, а они — из жалости!.. Как же теперь?! Неужто после этого — с ними!..

Он поднял голову, сразу наткнулся на взгляд Лоты: строгий, будто оценивающий. Что-то еще там было — такое, отчего у Стэна бешено стучало в груди, перехватило дыхание.

— Да! — почти выкрикнул он. — С вами!..

Заметил, как сразу потеплели глаза Лоты, смягчились черты лица. Почувствовал восторженный холодок: вместе!.. Что бы ни случилось — вместе! Он нужен ей...

— Ну, ладно, — сказал Бруно, пряча трубку

в нагрудный карман.—Тогда — готовься!.. Сейчас кругачи здесь будут.

Стэн невольно вздрогнул, прислушался. Где-то недалеко отрывисто и зло лаяли собаки.

— А потом? — вырвалось у него. — Что — потом?

— Потом?.. — переспросил Бруно, поднимаясь. — А потом — мы сдадимся! Если они нас того... не шлепнут сдуру! Ясно?!

БРУНО

Вот уж не думал, что цел останусь!.. Очухался в каком-то фургоне трясушем. Лежу пластом, морда на грязных досках, а перед носом — сапожищи солдатские. Дух от них — не передать! — видимо, от этой вони я и очнулся. Меж сапог приклады винтовочные приплясывают. Пол вверх-вниз ухаёт, трясёт, мотор надрывается — везут куда-то!..

Чувствую — не шевельнуться, спеленали по рукам-ногам, как колоду. Голова трещит, во рту горечь соленая, губ не разлепить. В общем, чисто разделали, чертово семя...

Ну, кое-как приподнял башку, оглядываюсь. Крытый брезентом фургон; из заляпанных окошечек — розоватый свет, рассвело, значит; вдоль обоих бортов — солдатня на скамьях. Десятка два, все в пятнистых робах, на плечах — черные кружки, знак ночной сферы. Черносферцы! Морды чугунные, на меня — ноль внимания. Дальше, ближе к кабине — Бруно с Лотой вповалку, как и я — связаны.

Скрипнул я зубами — такая злость взяла! Решился, называется! Послушался этого долбака психованного. Вот, значит, в чем их великий план заключался: чтобы кругачи их сами в столицу доставили! С музыкой!..

Это уж точно — даже с плясками. До упаду! Живого места не оставили, сволочи! Это же надо догадаться: добровольно кругачам в плен?! Но я-то хорош, поддался, не остановил, ну прямо затмение нашло, честное слово...

Тут швырять-трясти перестало, на ровную дорогу выбрались, шофер газу нададал. Значит, точно — в столицу везут!

В фургоне посветлело. Пригляделся я к солдатам, что ближе сидели — ох, и рожи, один к одному, под стать Бруно! Черт знает, где их вырывают — амбал на амбале, от таких не уйдешь. Сидят истуфанами, пялятся куда-то в брезент — зенки стеклянные. Пьяные они все, что ли?..

Через некоторое время — тормозим. Снаружи голоса, крики. Брезент сзади откинулся, ка-

кой-то тип в офицерской форме в кузов заглядывает. Глянул, рукой машет: «Пропустить!..» В столицу въезжаем, значит.

Ну, едем дальше. Вдруг, чувствую, кто-то меня со спины за веревки дергает. Изворачиваюсь: Бруно! Мать честная, сидит на полу и ножом мне веревки режет. Глянул я на солдат — хотя бы один бровью повел, будто не видят! А из глубины мне Лота рукой машет, она уже у окошка стоит, больную ногу поджав. Вроде даже подмигнула мне — ну, совсем, как Ян: мол, не дрейфь, парень!

У меня малость ум за разум зашел.

— Чего это они? — бормочу и на солдат кошусь.

— А-а,— говорит Бруно,— не обращай внимания! Спят они...

Спрятал он лезвие, к окошку подался. Пригляделся я к солдатам — а ведь и в самом деле спят! Все до единого, с открытыми глазами, словно лунатики. Колдовство, не иначе!..

Хочу встать — ноги подламываются, совсем скис. Тут Бруно сует мне несколько горошинок, вроде тех, в Обители, и фляжку маленькую — запить. Приложился я к горлышку — будто огня хватанул, все внутри запыхало. В одно мгновение башка прояснилась, прямо звенит, а в теле — ни боли, ни вялости; сил — горы бы своротил! Вот это напиток, думаю, где ж они раньше-то были, для себя, что ли, Бруно берет?! Хотел еще хлебнуть, не дал мордатый: нельзя, говорит, больше — вредно!

Вскочил я — и к окошку. А там... Матерь божья, грузовик-то уже по главной столичной площади шпарит, вон и купол уже близко: белый-пребелый, будто яйцо, полсферы закрывает, шпиль над ним золотой в небо вонзается, конца аж и не видно! Все вокруг оранжевым светом залито: железные крыши многоэтажников, бесчисленные окна, асфальт площади — прямо пожар. Народищу — видимо-невидимо, чисто Вавилон! Толкотня, давка, гул, все куда-то прут, друг друга пихают... И военных тьма: конные, пешие, в разных формах, все вооружены, кое-где даже панцири храмовников сверкают.

Фургон наш сквозь толпу едва ползет, шофер сигнал оборвал. И едем мы напрямик к куполу, то есть к Храму Святой оси, и народ, между прочим, туда же стремится, только солдаты их сдерживают. Тут у меня, как говорится, прорезалось, даже кулаком себя по лбу двинул. Ну, конечно, ведь сегодня же праздник, День Первого свершения — самый что ни на есть великий праздник Семисферья! Скоро Чудо оси, Большие жертвоприношения, пророчества... Потому и народ!..

Оторвался я от окошка, гляжу — Лота ко мне ковыляет, за борта придерживается, солдат задевает. Те — как статуи, плятятся слепо: хоть ты их режь, хоть жги, все едино! М-да-а, знай наших!

Лота меня за руку схватила и говорит:

— Мы у цели, Стэн!.. Приготовься — будем прорываться!

Вот оно, ожгло меня, вот они куда все время метили — в Храм оси!

— Ничего не бойся, ничему не удивляйся, — продолжает. — Все сделает Бруно — он подготовлен. А ты — мне поможешь, договорились?..

— Да, — киваю, — помогу... — Сам дрожу весь, только не от страха — нет во мне страха! — от напряжения. В храм, в святая святых, будто пригласили их! А ведь там охраны — как деревья в лесу, не могут они этого не знать, но вот, поди ж ты!.. Может, они их тоже... заколдуют, как черносферцев — и все дела? Черт их знает, что они еще могут! В общем, ничего-то я про них не знаю, ничего не понимаю, одно чувствую: не из наших они! Больно отличаются от нас, будто вообще не под Семью сферами родились, а где-нибудь в Золотом веке. Жрецы говорят — будет такой, после Второго свершения, чистый Эдем, молочные реки, кисельные берега, вино в фонтанах, все сплошь праведники и святые. Только когда это еще будет, а они вон, уже есть, из плоти и крови, на богов похожи, а не боги, да и не верю я жрецам насчет этого царства, мало ли что там через тысячу сферолет будет, нам-то здесь жить и сейчас, да не с праведниками, да и сами мы не праведники, вот ведь дела какие...

Тут фургон дернулся последний раз, встал.

— Все! — командует Бруно. — Пошли!!!

Смотрю, солдатня встрепенулась, повскакивала и через борт горохом: четко, слаженно, любо-дорого посмотреть! И на нас, само собой, ноль внимания! Чертовщина, самая настоящая чертовщина!

— Не отставать! — рывкает Бруно и — за ними. Лота меня в спину нетерпеливо подталкивает: «Давай, Стэн, не бойся!..»

Сиганул я на асфальт — там черт-те что творится. Народ стеной прет, волнуется, кричит; солдатики наши полукругом выстроились, штыки наружу: охраняют нас, значит, от толпы. Рядом — белая стена Храма ввысь уходит, как ледяная гора. В ней стальные ворота — вход. Закрытый, конечно.

Лота меня окликнула — помог я ей из кузова выбраться, придерживаю. Бруно к воротам подскочил, в руке — вроде игрушечного пистолета. Приставил вплотную — как полыхнет оттуда,

будто из гаубицы: пламя, искры, дым!.. Глаза сами собой зажмурились. Открываю — в воротах дырища черная, в мой рост, наверное, по краям багровым огнем светится. Жуть! Тут народ ахнул — и врассыпную, вмиг вокруг чисто стало.

— Прикрой лицо! — командует Лота. — Быстро!..

Натянул я капюшон поглубже, Лоту на руки — и туда! Дохнуло жаром, гарью, опалило кожу. Продираю глаза: над головой купол белый вздымается, громадный, как небо; под ногами пол мраморный сияет зеркалом, будто застывшее озеро. В первый миг мне даже показалось, что кроме купола и гладкого сияющего пола во всем Храме и нет ничего. Только где-то далеко, в центре, стоит здоровенная, окруженная решеткой каменная чаша, и из нее бьет вверх ослепительный луч — узкий, как копье, смотреть на него больно. Ось мира!

Лота дернулась, выскользнула из рук. И сразу завопил кто-то поблизости — на весь храм. Оборачиваюсь — всеильные боги, стоит рядом машина сатанинская, подковой изогнулась: тысячи глаз, все разноцветные — и мигают, как живые! Что-то в ней крутится, стрекочет, попискивает. В кресле перед ней скорчился какой-то храмовник в белом мундире и визжит, будто его на бойне потрошат. Над ним Бруно навис: весь черный от гари, шапчонка на голове дымится, страшный, как дьявол. Лота к нему на одной ноге прыгает.

Бросился я, подхватил за плечи. «Скорей!.. — кричит. — К машине!» Этот в белом, смотрю, уже на полу, на четвереньках — только зад мелькает. А Бруно склонился — и по клавишам, двумя руками. Сразу вой со всех сторон: дико, с надрывом, даже кровь стынет — сирены! Бруно уже присел, какую-то крышку внизу отдирает, прямо с мясом. Проводов там внутри — миллион, в глазах рябит. Он туда руки, по самые плечи: треск, шипение, искры веером... Сирены враз захлебнулись, а огоньки на машине еще быстрее заплясали — словно взбесились. Лота в кресло плюхнулась, где раньше храмовник сидел, и давай какие-то кнопки разноцветные давить. Боги, думаю, как же они во всем этом разбираются?!

Слышу, крики под куполом, топот. Откуда ни возьмись, прет к нам куча народа — сплошь храмовники, вооружены до зубов. Только я рот раскрыл — предупредить! — воздух вокруг всколыхнулся, рокот пошел волнами: низкий, грозный. И такой вдруг страх на меня навалился — сроду не бывало! Понял: сейчас конец, вот еще секунда — и всем здесь крышка! Даже волосы зашевелились. Дернулся я куда-то, уже не сообра-

жаю ничего, одно в башке: бежать, бежать... Не успел — перехватил меня Бруно, ручищей за ногу поймал, как клещами. А под куполом визг, вопли, стоны, охрана сломя голову — к выходам! Я дергаюсь, бьюсь, как рыба на крючке, волком воюю... Жуть!

Вдруг — кончилось все, стих рокот, и мигом страх куда-то пропал. Вокруг — ни одного человека, все сгнули, только оружие на зеркальном полу валяется — побросали, значит. Ох, думаю, опять страсти дьявольские, но как же они это?!

Лота в кресле оборачивается, глянула вокруг, лицо в пятнах копоти, возбужденное. Откинулась на спинку, вздохнула.

— А ведь все,— говорит,— успели! Успели, Стэн!.. Бруно перехватил управление — никто сюда не войдет! Вот так...

Я пот вытер — мокрый я после всей этой чертовщины, хоть выжимай. Ну, ладно, успели, а дальше-то что?.. Рано или поздно храмовники нас отсюда все равно выкурят. Что тогда? Зачем вообще мы здесь?

Бруно с пола встает, весь черный, в подпалинах, глаза горят — сущий демон.

— Готово! — хрипит. — Можно вводить установку!

Лота вздрогнула, глянула на него как-то странно: то ли с восторгом, то ли с жалостью — не поймешь. Ее вообще трудно понять, такой уж человек...

— Давай! — говорит тихо.

Бруно развернулся и потопал куда-то.

— Стой! — кричит Лота. — Вернись!

Подходит — морда невозмутимая, ни один мускул не дрогнет. Лота вдруг привстала в кресле, обхватила его за могучую шею, поцеловала в лоб: «Иди!..»

И пошел он куда-то к центру, в сторону Чаши, на которой Ось мира покоится. Быстро идет, чуть не строевым шагом: от сапог гул на весь Храм. Не по себе мне почему-то стало. Про какую это он установку говорил, нет у них никакой установки, если и было что — все в вертолете сгорело.

— За ним!.. — командует тут Лота. — Помоги мне...

Оперлась на меня, заковыляли мы следом. Он уже у решетки. Разбежался, перемахнул игранчи — а там в два моих роста! — и давай вокруг Чаши кружить, вроде как по спирали. А сам все время на Ось смотрит, будто заорожила она его.

Подбегаем к ораде. «Все! — шепчет Лота. — Нельзя нам дальше!..» Стоим, к прутьям прижались. У Лоты глаза темные, расширенные, в зрачках — Священная ось белой нитью. У меня по

спине холодок пробежал: что ж такое будет?!

А Бруно все кружит — ближе, ближе, потом прыг к Чаше, обхватил ручищами — словно поднять собрался. Слышу, Лота шепчет: прощай, мол, Бруно!.. А Бруно вдруг пухнуть пошел — расперло его во все стороны: спина горбом, руки из рукавов повылазили и давай расти, все длиннее, длиннее... Уже и не руки — щупальцы. нечеловеческие, черные, скользкие — всю Чашу кольцом обхватили. Треснула тут куртка его кожаная, в прорехах металл блеснул; провода откуда-то повыскакивали, зазмеились к Чаше.

Вцепился я в прутья, стою, как оглушенный, даже молитву не могу прочесть: все начисто отшибло! Лота мне плечо сжала: не бойся, мол!.. Куда там!..

А у Чаши — сушая чертовщина! Уж и тела мордатого нет — одни провода, спирали, шары какие-то... Где-то среди этой мешанины голова крутится — винтом, лицо мелькает темной маской. Минута прошла, не больше — нет Бруно, исчез вовсе! Вместо него нависло над Чашей какое-то дикое сооружение, все в шипах, как еж, сверху огонек зеленый помигивает — прямо в воздухе. А от Бруно — только кучка рваных тряпок на зеркальном полу.

— Вот и все,— говорит Лота со вздохом. — Нет больше Бруно, он свое дело сделал!

Что-то у меня в мозгах вроде забрезжило.

— Так это... — бормочу. — Это...

— Да,— подхватывает с улыбкой. — Бруно — это машина! Хорошая машина. Мы любили его, Стэн. Ведь он — это мы!

ЛОТА

Чуть не сел я, ей-богу... Подумать только — машина! Машина, которая в тысячу раз умнее любого здесь!

А Лота засмеялась, а потом говорит, что, мол, не удивляйся, все поступки Бруно — это их с Яном приказы или заложенная программа. У них с Бруно была какая-то дистанционная связь, ну, как бы мысленная, и когда он говорил, то это, в основном, были слова Яна или Лоты, хотя и сам Бруно многое умел: он и телохранитель, и следопыт, и носильщик, и водитель, и бог знает, чего он еще умел, одно только ему было не дано — мыслить по-человечески. Все ж таки это машина из железа да пластика, и главное ее назначение — здесь!..

Тут Лота кивает на то, что раньше было Бруно, и говорит:

— Бруно — это значит: Биороботальная Уста-

новка Нейтрализации Оси. Теперь ясно?.. Ради этого его и сделали, ради этого и мы здесь!

Она посерьезнела, глянула пристально мне в глаза.

— Видишь этот огонек над чашей?.. Это значит, что установка, которую он нес в себе, заработала! И ничто уже ей помешать не сможет!.. Осталось немного. Скоро ты не узнаешь свой маленький мирок... Переждем здесь, а потом... потом ты кое-что увидишь!..

Говорит она эти слова, и чувствую я, что вот эти минуты — самые главные во всей моей жизни, в прошлой и в будущей, даже если мне еще сто сферолет жить придется! Набрался я храбрости, взглянул ей прямо в лицо.

— Кто вы? — спрашиваю. — Откуда к нам пришли?..

Тряхнула она волосами, прищурилась. В глазах — самых светлых под семью сферами — белые огоньки вспыхнули.

— А ты все еще не понял?!

Неужели, думаю, оттуда?.. Но ведь не может этого быть, нет там ничего и никого: черная гарь, пепелище, даже не растет там ничего. Да и как же сквозь сферы-то, невозможно это!.. Чувствую, еще секунда — и лопнет у меня сердце, как мнимом проколотый.

— Ну что ты сам себя пугаешься?! — продолжает Лота, улыбаясь. — Ведь догадался же, вижу!

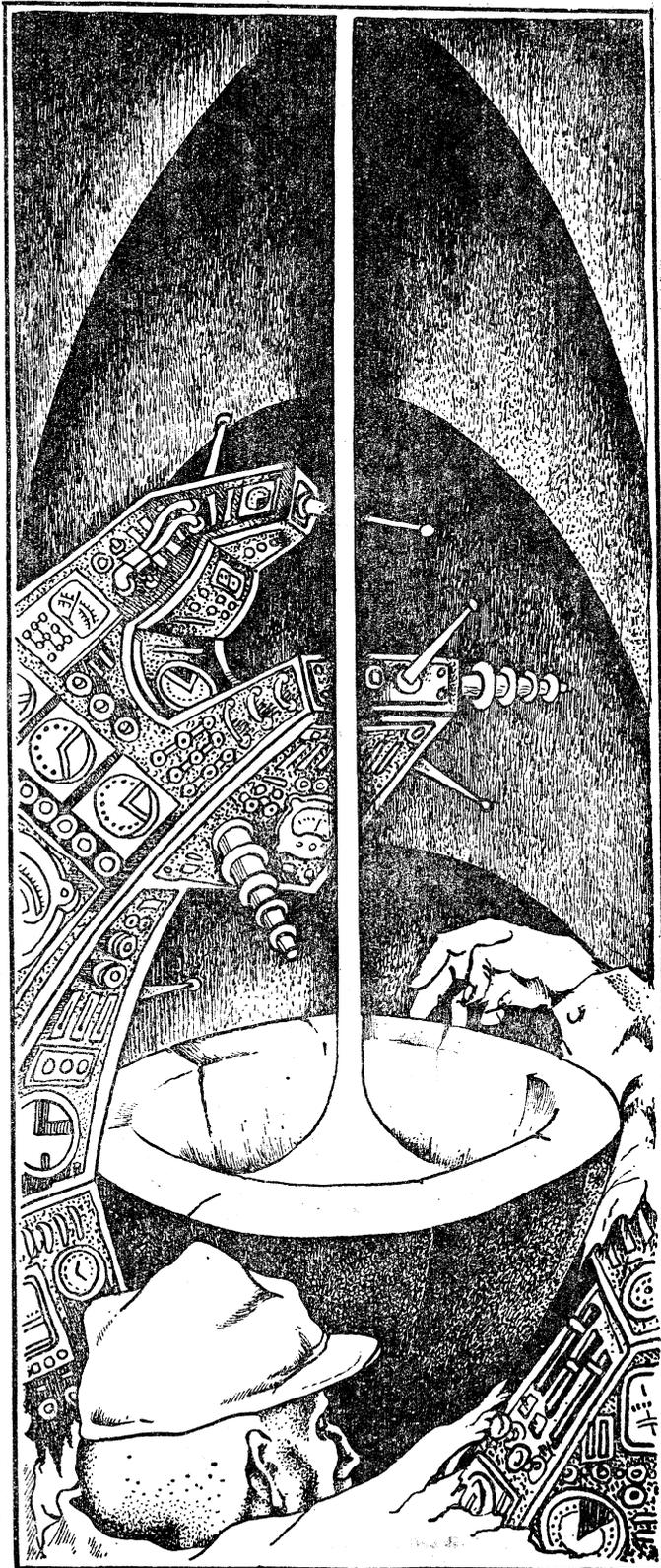
Я только губами шевелю беззвучно — оттуда! Значит, точно — оттуда!

— Присядем, — говорит Лота немного смущенно. — Устала я цаплей стоять!..

Опустилась прямо на пол, спиной к решетке, больную ногу вперед вытянула — и уже всю ею шевелит, словно и взаправду подзажила. Присел я на корточки рядышком, понимаю: главное — впереди! А она молчит, вроде задумалась о чем-то, может, Яна вспомнила.

— Плохо у вас тут, Стэн! — вдруг оборачивается. — Не ожидали! Глупостей наделали... Спорили, сомневались, а выходит — сразу надо было!..

Вздыхнула она глубоко, волосы поправила и стала негромко рассказывать, как все было. Про Свершение — как однажды, ровно двести лет назад, небо ночью полыхнуло, а вся земля вокруг вздыбилась и пошла вверх чашей загигать. И как наш мир после этого выродился: вместо неба — сфера сплошная, ни солнца, ни луны, ни звезд, везде земля; над головой горы, реки, леса — висят, а не падают; вместо солнца возникло безобразное черное образование, исходившее по утрам громадными радужными пузырями; в Призенитье объявились бредовые мнимоны — увеличенные сферой фантомы-миражи;



в лесах и болотах, где фоновая радиация оказалась повышенной, расплодилось уродливых мутантов. В общем, было это, может, пострашней атомной войны, которую в то время ждали со дня на день; никто ничего не понимал, многие с ума посходили — хаос, грабежи, насилия... А церковь, единственная в то время древневерская церковь, с перепугу объявила Апокалипсис: вот он, значит, Конец света, и было это, конечно, чудовищной глупостью — разве можно отнимать у народа последнюю надежду?! За эту самую глупость церковь и поплатилась — тут же отыскались ловкие ребята, которые заявили: не конец это, а совсем даже наоборот — спасение, чудесное спасение от ядерной бойни, новой мировой войны, которая началась там, за сферой, где все уже, наверное, погинуло; уцелели только они, избранные божьи, потому что за мгновение до гибели милостивые боги заключили их маленькую страну в священную сферу — непроницаемую ни снаружи, ни изнутри — вот она, смотрите, люди... И поверил народ — куда ж деваться, ведь новая религия оставляла надежду на возвращение: верь — и будет Второе свершение, достойные еще вернуться в большой мир — очищенный, перерожденный, Новый Эдем...

Вот так и пошла жизнь потихоньку. Человек ко всему приспосабливается — нашлись запасы, которые копили на черный день, сфера давала рассеянное тепло, земля родила, в общем — вроде маленькой планетки, только жизнь не снаружи, а внутри.

Ну а ребята эти ловкие в жрецы подались — как говорится, свято место не пустует! — обзавелись всем, чем надо, и сели сверху, крепко и надолго, вот уж два столетия друг друга сменяют и нам, дуракам, значит, мозги пудрят про чудесное спасение и прочую ерунду. А мы уши развесили — верим, да еще сами же камни кидаем в тех, у кого мозги не заплесневели, кто думать не научился, а ведь им памятники надо бы ставить, отвергам этим, и первому — Радену, умница он был, настоящий ученый, редкостного дарования, он ведь почти догадался обо всем, его формулы замкнутых сфер — блестящая находка, прямо гениальная, жалко его, очень...

Вот, примерно, о чем Лота говорила, только, конечно, другими словами, да и не все я понял, хоть и старалась она попроще. Одним словом — наша история, только совсем другая, не та, к которой все привыкли. Причем понимаю я — еще не все это, а только вроде как предыстория, потому что ведь есть те — от туда, кто явился неожиданно-негаданно и решил вмешаться...

Но об этом не успела она ничего рассказать. Опять вдруг сирены взвыли и эхом на весь ку-

пол. Лота вздрогнула — и сразу на Чашу. А там, над той установкой, вместо зеленого — красный огонек мигает. И вижу, Лота моя в мгновение ока белей купола стала — ясно, дрянь дело! Потом перед Чашей, опять-таки прямо в воздухе, замелькали какие-то знаки светящиеся, и чувствую, что-то меня начало отпихивать от ограды, будто невидимая рука, мягко, но настойчиво — давай, мол, отсюда! Тут и я белей муки стал.

Лота обернулась, взглянула на меня пристально, как тогда, в лесу — словно оценивала. На мраморном лице — блики красные, брови нахмурены. Вздохнула коротко и говорит:

— Пошли отсюда, Стэн! Нельзя тебе здесь оставаться...

И голос совсем уже не тот — усталый, глухой. Вскочил я, хотел ее на руки взять — не позволила. Поковыляла обратно, к той машине диковинной, у ворот. Лота уже слегка на больную ногу ступает, не морщится, значит, действительно заживает! Молчит, лицо застыло. Большого ума тут не надо — что-то у Лоты не вышло: то ли авария, то ли другое что?!

Вернулись к воротам. Глянул я — что такое?! Вроде те же самые, через которые мы под купол попали, а дыры нет! Вместо нее какая-то блямба блестящая с неровными краями — будто нарост. Так вот почему за нами не сунулись — заросла дыра, затянулась, как на живом месте! И хоть чудо это немыслимое, а я не особенно удивился, видно, вконец отупел от чудес этих, ничем уж меня не поразить: эти, которые оттуда, все могут!

Стоим у свода, он вроде из полупрозрачного стекла сделан, очень толстого. Снаружи тени какие-то мечутся, ворота гудят от грохота, видно, лупят по ним прикладами. Сзади сирены надрываются, багровые вспышки уже весь купол озаряют. Лота опять на меня смотрит, а глаза — черные-пречерные, как сфера ночная. Не первый раз замечаю, как у нее цвет глаз меняется, а все равно холодок пробирает.

— Понимаешь, Стэн, — говорит будто с усилием, — придется нам с тобой отсюда выйти... Так уж получилось — не отсидеться нам здесь! Они замкнули энергию оси, здесь растет излучение. Это — смертельно!

Ничего я про это самое излучение не понял, зато сразу сообразил, что нас отсюда просто-напросто выкуривают каким-то дьявольским способом — храмовники ведь тоже не болваны, кой-чего соображают! Ну что ж, думаю, выходить так выходить, с ихними способностями как-нибудь выкрутимся. А Лота головой покачала и говорит, будто мысли мои прочитала:

— Нет, Стэн, чудес больше не будет!.. Бруно

нет, охранять нас некому. Рассчитывать придется только на себя, понимаешь?..

— Та-а-к!..— говорю.— Ясно! — Чего уж тут не понять: выходит, вся их дьявольская сила в Бруно была, в машине этой, а Лота с Яном — такие же, как мы. Вернее — почти такие же, души-то у них — словно из другого материала: чище, светлее...

А Лота назад смотрит, на установку, над которой красный огонь мигает. То ли прощается, то ли не решится никак. И тут мне вспомнилось, как она сначала проговорила: мол, тебе нельзя оставаться! Не случайно у нее это вырвалось, получается, что ей-то чертливо это излучение не страшно, а все дело во мне, из-за меня она собирается отсюда выйти, собой пожертвовать. Э-э, нет, думаю, этому не бывать!

Наклонился я, подобрал автомат — кто-то из охраны, удирая, бросил. Затвор передернул.

— Значит,— говорю,— туда? — И на ворота киваю.

— Туда,— отзывается эхом.

Что ж, все ясно, живыми к этим лучше не попадаться; после всего, что было в фургоне и здесь, под куполом, они уж, конечно, пострадают!

— Вот что,— говорю,— Лота!.. Я все понял. Сейчас ты откроешь дверь, и я выйду! Один — понятно? Не вздумай за мной идти — все равно не позволю!..

Смотрю, глаза у нее потептели, черноты побавилось. Придвинулась ближе, головой качает.

— Эх, ты,— говорит,— мальчик!.. Разве между настоящими людьми так дела делаются?! А ты подумал, каково мне будет?.. То-то же!

Сказала — и дрогнул я. Понимаю разумом, что глупость она сделать собирается, что смешно даже сравнивать нас — да кто я перед ней?! — а сердце подсказывает: ее правда, у них, у настоящих, и в самом деле так не водится — бросать друг друга.

Лота тем временем автомат у меня отбирает — и в сторону.

— Не надо этого! — говорит.— Больше у вас никто никого не будет убивать. Я же обещала: все теперь станет иначе! И не бойся ничего — не посмеют они, увидишь...

То ли успокоить она меня хотела, то ли действительно надеялась — у меня на сей счет свое мнение было. И если бы мог, если бы решился, своими руками бы ее жизни лишил — все лучше, чем к жрецам!

Обняла вдруг крепко, в губы поцеловала, шепчет:

— Ты только выдержи, милый, прошу тебя — выдержи! Ведь самая малость осталась!..



ЭКЗАРХ

Экзарх был в белом мундире без знаков различия — невысокий, сутулый, густые волосы с проседью, добрый прищур карих глаз. Ничего особенного Стэн в нем не нашел — человек как человек. Обыкновенный. На портретах, которые висели в каждом храме, Верховный жрец выглядел иначе: старше, величественнее.

Он стоял за массивным письменным столом, у окна, пропускавшего в комнату желтый полуденный свет сферы. По углам, в нишах, прятались мраморные лики богов Семисферы; слева, у стены, — громадный раскрытый алтарь со сценой Первого свершения.

Стэна с Лотой — хотя они все еще были в своих комбах, черных от грязи — усадили в глубокие мягкие кресла, обтянутые белым шелком. Стэн долго не мог сообразить, почему он здесь и вообще — жив?.. Ведь его даже не били, только в самом начале, когда ворота купола с глухим стуком захлопнулись за их спинами, ему пару раз перепало прикладами. Но это так, пустяки, солдаты просто срывали злобу. Потом с ним разговаривали какие-то высшие жреческие чины с золотыми нашивками на рукавах — опять же спокойно, без мордобоя. И вот он здесь, в покоях Верховного... Уму непостижимо. И только потом до него дошло, что все дело в Лоте — так пожелала она, и сам экзарх, наместник богов под сферами, вынужден считаться с ее желаниями. Это спасло ему, Стэну, жизнь. Пока! Пока экзарх считается с ней...

Мягко ступая, Верховный вышел из-за стола, остановился против Лоты.

— Как я понял, у нас мало времени, — сказал отрывисто. — Ваши условия?

— Никаких условий, — покачала головой Лота. — От вас требуется только одно — сообщить обо всем населению!

Экзарх резко сел в кресло напротив — будто прыгнул, достал золотой портсигар, закурил.

— Почему нельзя войти в купол? — спросил, разгоняя ладонью дым. — Мои люди взрезали двери и до сих пор топчутся перед ними, как бараны...

Легкая улыбка тронула губы Лоты.

— Это просто... Есть такой приборчик... Назовем его для простоты «генератором ужаса». Это понятно?

Экзарх приподнял бровь, задумался.

— В принципе, — произнес негромко, — нам ничто не мешает расстрелять вашу установку прямо из дверей. Прямой наводкой!

— Мешает! — возразила Лота. Глаза ее уже откровенно смеялись. — Установка защищена. И

потом... — она чуть качнулась вперед. — Поймите, вы имеете дело не с дилетантами. Все предусмотрено!

Экзарх пристально, с каким-то болезненным любопытством разглядывал Лоту. Не было похоже, чтобы он волновался. Курил, щурился сквозь дым.

— Ну, а если бы не дошли? — спросил резко. — Ведь вы, кажется, не бессмертны?!

Лота пожала плечами.

— Пошли бы другие... Просто это случилось бы чуть позже.

— И ни тени сомнений?

— Нет, почему же... — Лота взглянула на него внимательней. — Все было: и сомнения, и выводы, и — решения! Мы ведь кое-что видели... — Она насупилась, потом трянула головой. — С этим надо кончать!

Экзарх порывисто встал, шагнул к столу, бросил окурок в пепельницу.

— Все не так просто, как вы представляете, — сказал, возвращаясь. — Здесь сотни тысяч людей. В основном — полудикари. Сфера для них — единственно возможный мир. Они скорее умрут, чем откажутся от своей веры!

Остановившись перед креслом Лоты, он сцепил руки за спиной.

— Зачем умирать? — Лота устало вздохнула. — Когда люди узнают истину, никто не захочет умирать...

— Что есть истина?! — усмехнулся экзарх, доставая новую сигарету. — Химера!.. — Он быстро курил, глядя на нее сверху вниз, и Стэн вдруг понял, каких усилий стоило ему это внешнее спокойствие. — Позвольте все-таки узнать, кто вас уполномочил принимать решение? Кто вы?

Лота выпрямилась в кресле, глаза ее блеснули. Стэн произвольно напрягся: «Вот, сейчас!..»

— В данный момент я представляю здесь семь миллиардов граждан Земли, — сказала она просто. — Решение приняли мы вдвоем с Яном: полномочия у нас есть! Официально предлагаю вам немедленно оповестить население о скором переходе...

Экзарх недоверчиво покачал головой:

— Быстро же вы оправились... Мы считали, что там, за сферой — ничего не осталось. Ядерная зима и прочее — ну, вы понимаете!..

Лицо Лоты порозовело.

— Да поймите вы, наконец, не было никакой войны! Хватило разума и сил... А был мир, двести лет мира — впервые в истории. Вы даже не представляете себе, что это такое — два столетия мира! Вы не узнаете свою планету!..

Стэн потряс головой—его ударило в пот. Боги, о чем они говорят?! Семь миллиардов, не было войны... Как же так—не было?! Зачем же они тут?.. Нет, нет, этого не может быть! И Раден говорил—была! Ядерная...

— Но если так,—криво улыбнулся экзарх,—откуда сфера? Значит, все-таки боги?!

Лота изумленно взглянула ему в лицо.

— Ну, хорошо,—сказала терпеливо,—если вы хотите выслушать это от меня—пожалуйста!

И она ровным, бесстрастным голосом заговорила о том, что случилось двести лет назад, когда все висело на волоске: быть или не быть? Мир тогда раскололся: одни готовились, казалось, к неизбежному, другие—всеми силами старались остановить безумие, а кто-то—надеялся отсидеться.

В то время уже проводились опыты по свертке пространства, и вот за них-то и ухватились тогдашние правители этой маленькой страны. Возник бредовый план: локально свернуть пространство, переждать в коконе мировой пожар и вернуться в большой мир—уже единственными хозяевами!

Начались опасные эксперименты—как раз там, где нынче находится Зенит! Их предупреждали—но что может быть страшней атомной войны?!

Все закончилось невиданной катастрофой—неуправляемая коллапсная реакция, взрыв... Страну, словно зонтиком, накрыла замкнутая сферическая волна. Физическое время сместилось вперед на доли секунды—пространство схлопнулось, свернулось внутри колоссальной вращающейся сферы! А там, снаружи, на месте исчезнувшей страны, возникла странная псевдообласть без размеров и границ—тысячи квадратных миль пространства, стянутых в бесконечно малую точку. «Фридмон»—мир в элементарной частице!

Почти двести лет он был единственной запретной зоной на Земле: сферу нельзя раскрыть снаружи—это губительно для ее населения. Даже местные проколы стали возможны лишь теперь, когда энергия вращения пошла на убыль... Никто не знал, что там происходит—внутри. Предполагали, что часть населения могла выжить.

И когда подошло время и сферу удалось проколоть, внутрь была заброшена специально подготовленная группа с широкими полномочиями: Ян, Лота и многоцелевой робот. Только трое—чем больше забрасываемая под сферу масса, тем сильнее внутренние возмущения. В момент заброски в Призенилье отмечались довольно сильное землетрясение и прочие аномалии...

Их заметили, почти сразу началось преследование, и они поняли, что целостность сферы тщательно контролируется. Значит, лидеры этого мира предполагали возможное вторжение извне и должным образом подготовились... За время, пока добирались в столицу, удалось многое почитать. Достаточно, чтобы решиться!..

Лота замолчала. Взглянув на Стэна, кивнула одобряюще. У него щипало глаза от пота—весь взмок. Машинально утершись рукавом, Стэн посмотрел на экзарха. Неужели правда?! Значит—не было никакого божественного Сверхшения? Никто их не спасал, никому они не нужны—все ложь, ложь! Религия Сферы, боги, храмы, жрецы, жертвы—чтобы они не свихнулись и верили, верили, верили...

Экзарх с минуту молчал, хмуря брови. Лицо его будто затвердело.

— А если даже и так?—вдруг произнес глухим голосом.—Что это меняет? Мы не в ответе за предков!..

Он круто обернулся, подошел к столу, уселся, сцепив руки перед собой.

— Я обязан думать о своем народе,—продолжил из-за стола отрывисто.—Вера в Сверхшение—основа нашего мира. Вы хотите разрушить ее. Но это вам—не мост взорвать! Вы представляете, что с ними будет?.. Шок, безумие! Те, кто выживет, никогда не приспособится к вашему образу жизни—это же питекантропы! Как вы поступите с нами! Резервации, туземные поселки за колючей проволокой... Или, может, зоопарки?

— Перестаньте!—выкрикнула Лота.—У нас найдется, кому позаботиться о них! А если вы действительно думаете о народе—сообщите им правду! Еще есть время...

— Ну хватит!—в голосе экзарха звякнул металл.—Я не могу допустить эту авантюру!.. Мы действительно подготовились. У нас—отличная армия: танки, артиллерия, авиация! Как бы вам не вспомнить, что такое война!.. Что, вам смешно?!

Верховный жрец откинулся назад, крылья крупного носа раздувались. Стэн напрягся, ему не хватало воздуха. «Что же будет?—тупо стучало в мозгу.—Что же теперь будет?..»

— Ладно!—произнес Верховный, играя желваками.—Тогда я напомню вам о тех ядерных реакторах, которые действовали в стране накануне Сверхшения. Они работают до сих пор! Мы накопили тонны первоклассного плутония. Прикиньте-ка, сколько бомб можно из него сделать?! Предупреждаю: мы пойдем на все!..

Лота невесело усмехнулась.

— Семь миллиардов,—раздельно произнесла она.—Семь миллиардов свободных людей!..

Какие бомбы, какие танки — опомнитесь! Сейчас не время для детских игр! Займитесь срочными делами... Иначе я всерьез поверю, что вы нездоровы.

Экзарх качнулся вперед, лицо его побледнело.

— Так вы отказываетесь выключить установку? — стеклянным голосом произнес он.

Вот оно, пронзило Стэна. Он невольно встал с кресла и теперь стоял, сжимая кулаки. Он чувствовал, что сейчас произойдет. Это повисло в душном жарком воздухе кабинета, застыло в побелевших немигающих глазах экзарха, плотно сжатых тонких губах — неотвратимое, как страшный сон. Боги, взмолился Стэн, ну сделайте же что-нибудь!..

— Даже если бы это было возможно, — спокойно сказала Лота, — я бы этого не сделала!

Экзарх медленно поднялся во весь рост, лицо его неузнаваемо изменилось. Стэн с ужасом увидел, как буквально на глазах сползла с него маска терпения и доброжелательства. Теперь перед ними стоял он — владыка Семисферья, каждое слово, каждый жест которого — закон!

— Дрянь!.. — процедил он, раздувая ноздри. — В героини захотела?.. Думаешь — памятник поставят?.. Невинно убиенной девице Лоте д'Арк от благодарного народа Семисферья!.. — Он рванул на себе ворот мундира. — Не выйдет!!! Я отдам тебя солдатам... толпе! Народ сам накажет осквернителей Храма и веры!..

Не помня себя, Стэн заслонил собою девушку. «Нет! — беззвучно кричало все его существо. — Только не это!!!» Лота отстранила его, на бледном лице вдруг сверкнули белоснежные зубы: она смеялась!

— Вы больны! — бросила звонко. — Таких мы изолируем и лечим!

Сквозь влажную пелену в глазах Стэн видел, как экзарх, зло сжав зубы, шарил вслепую по столу. Со стуком распахнулись двери, кабинет в мгновение ока наполнился людьми.

— Не сме-еть!!! — закричал Стэн, прыгая им навстречу.

СТЭН

Дальше — туго помню. Врезали мне чем-то по черепу, все поплыло. Вроде куда-то тащили, везли... Сплошной туман.

Врубаюсь — степь травянистая ровной чашей; где-то высоко, над головой — лесистые холмы; сзади — канал, весь чертовым кустом оброс. Кажись, тот самый, где мы вчера на засаду напоролись.

Невдалеке — грузовик крытый, храмовники рядом разминаются, дым в небо пускают. А дело уже вроде к вечеру, хотя и светло еще. И на кой черт, думаю, они меня сюда притащили! Не велика птица, могли бы там же, на месте...

Тут еще два грузовика крытых подъехали. Брезент откинулся, солдаты вниз попрыгали. Потом народ повалил разный.

Присмотрелся — собственным глазам не поверил! Вот те на: знакомые все лица! Джуро, Аско Кривой, Пузырь, Шакал с братьями, Ялмар... В общем, вся банда во главе с вожачком, все бывшие покойнички! Вот так-так... А я-то их уже похоронил давно!.. Выходит, никого тройка не убивала, не в их это правилах, просто нейтрализовала как-то, чтоб под ногами не путались — и дальше, своей дорогой! А когда Ялмар с дружками очухались, тут их кругачи и сгребли...

Вслед за ватажниками, смотрю, монахи-древневеры полезли, из горной обители, а когда я среди них отца Тибора разглядел, даже не удивился: отстояла его тройка, они и не такое могут! Дальше — отверги появились, грязные, как черти, даже их хиллак-командир уцелел, хотя и с трудом я его признал — больно излупцован! Одним словом, все, кто хоть как-то с тройкой дело имел. Полный комплект!

Так вот зачем нас к каналу притащили — чтоб концы в воду! И хотя давно уж готов был я к этому, все равно мороз прошиб: неужто решатся, ведь столько народу?!

Кругачи согнали всех в кучу — торопятся, нервничают, затворами щелкают. Вдруг, вижу, народ расступился, и выходит из толпы она — Лота. Целая, невредимая, походка царственная, будто плывет по траве — и ко мне! Солдаты ее не задержали, вроде даже отпрянули — как от ведьмы.

Вскочил я ей навстречу, не устоял — бухнулся на колени, совсем ноги не держат. Наклонилась она, в лицо заглядывает.

— Стэн, мальчик, — шепчет страдальчески, — как же тебя так?!

Видать, крепко меня разукрасили. Кругачи поодаль стоят, на нас искоса поглядывают, курят. А я ничего видеть не хочу, кроме лица ее родного — и ведь ни тени страха в нем!

Руку мне на голову положила, шепчет:

— Потерпи, милый! Сейчас легче будет...

И такая в ее голосе нежность, что в горле у меня намертво перехватило: хочу сказать что-нибудь напоследок — слова не вымолвить! А она все гладит по голове и смотрит, а в глазах блеск странный, завораживающий... И снова, как тогда в лесу, после Станции, боль куда-то ушла, си-

ленка вдруг появилась, в мозгу мыслишки заворожались. Ясно мне стало, что это ее сила в меня вливается — последнее отдает! Извернулся, прижался губами к ладони ее, мычу что-то...

— Ничего они мне не сделали, — шепчет в ухо. — Не посмели! Я же говорила... Держись — скоро уже!..

И на небо посмотрела. А небо действительно странное. Вроде фиолетовый час настал, вечерний, а не темнеет. Наоборот, по всей сфере какой-то тревожный свет: розовыми сполохами, будто пожары повсюду. На знамена похоже, о которых монахи потихоньку шепчутся.

Тут солдаты зашевелились, офицер объявился — что-то каркает, рукой машет. Морда красная, бешеная...

Кругачи цепью выстроились, погнали народ к берегу. В общем, если у меня где-то еще теплится — враз погасло! Значит, всех сразу — и в канал. Засыплют, заровняют — поди найди! Мол, знать не знаем, ведать не ведаем... Лота привстала, глаза прищурила, побледнела: тоже поняла. И опять вверх, на небо — губы шевелятся, словно заклинание какое читает.

Подогнали народ, выстроили у кромки канала. Все молчат, хоть бы крикнул кто — глаза остекленевшие, мертвые. Заранее с жизнью распрощались, уж и души нет, одни оболочки. Ватажников Ялмара пока не тронули — отдельной кучкой стоят, в стороне. А я на заросли кошусь, что левее начинались. Если рвануть туда, и вниз, по склону — может, и удастся, а?.. Ничтожный шансик, но все же?!

Подался я к Лоте, киваю на кусты — мол, давай! Не реагирует, уставилась на солдат, взгляд дикий, страшноватый, зрачки во все глаза — и будто одеревенела! Может, тоже с жизнью простилась!?

Солдаты тем временем выгнали вперед ватажников, у тех уже откуда-то винтовки в руках. Сфероносцы сзади, автоматы им в спину: чужими руками, значит! Подняли ватажники винтовки на прицел — морды хмурые, испуганные. На небо поглядывают, пожар там все сильнее, так и полыхает!

Дернул я Лоту за рукав — если пытаться, то сейчас, пока они с первой партией расправляются! Ноль внимания...

Тут офицер что-то крикнул, рукой взмахнул. Винтовки враз вверх дернулись — залп! Рвануло уши, из канала воронье тучей... А народ стоит! Мимо!!! Ей-богу, мимо! Поверх голов саданули...

Офицер заорал, выхватил пистолет, забежал перед ватажниками, Ялмару врезал наотмашь...

Снова винтовки поднялись, стволы ходуном ходят и, чувствуя, опять вверх целят. Пальну-

ли — точно, мимо! Народ, правда, не выдержал, многие попадали вниз — со страху. Вот тебе и ватага — кругачей не испугались!.. Те совсем взбесились, набросились на них — приклады так и мелькают.

Оборачиваюсь — Лота белая, как мрамор, в глазах — огонь холодный, колдовской, до костей прошибает. И понял я, что ватажники здесь ни при чем! Она это!!! Великое небо, кто же еще на такое чудо способен? Она это заставляет ватажников мимо стрелять...

Вдруг — гул раздался, мощный, грозный. Враз крики прекратились, все морды вверх задрали. А там — страшное дело! Горит небо, пылают лютым пламенем. В зените — дырка белая, и бьет оттуда огонь. Жаром дохнуло, вокруг все замерло, не шелохнется: воздух, деревья, кусты, люди. Прямо давит, к земле гнет.

Лота вдруг голову запрокинула, вскрикнула что-то и в траву, как подкошенная. Бросился я к ней — не успел!..

Дернулась тут страшно земля, ушла из-под ног. Лечу я куда-то и вижу: треснуло небо, расколосось! Трещина на всю сферу — черная, как ночь, все шире, шире. В ней — точки яркие, ледяным огнем горят, так и впились в глаза.

Потом грохнулся я на спину — искры из глаз!

Лежу, гудит со всех сторон, словно лавина. А трещина — уже на весь мир. Дрогнули горы, холмы, леса — и вниз, на меня! Обдало меня холодом могильным: вот он, конец света! Мир падает!

Заорал я, сам себя не слыша, зажмурился — конец, конец, конец...

Отключилось у меня в мозгу что-то, выпал кусок из памяти... То ли минута, то ли час... Пришел в себя — тихо, в лицо прохладный ветерок бьет. Поднимаю голову... Великие боги, нет больше сферы!!! Совсем нет! Ничего над головой нет — одна громадная сияющая голубизна! А под этой голубизной — совершенно немислимая, будто разглаженная исполинским катком, равнина — плоская, как стол! Весь мир — распрямился! Нет больше вогнутых равнин, ничего не нависает, все раскрыто, распахнуто куда-то в жуткую, неправдоподобную бесконечность. Куда ни глянь — плоскость, плоскость... Только где-то далеко, в туманном мареве странного дня, в прозрачную синеву вонзались сиреневые горы.

Значит — свершилось, дошло до меня наконец, все-таки свершилось!!! Вот он каков, мир по ту сторону сферы!

Встал я на четвереньки — голова кругом, все плывет, качается, однако ж сообразил, что меня к самому каналу отбросило. Как же, думаю,



здесь жить-то, ведь невозможное это дело! Разве что всем в землю зарыться, как кротам!

Слышу, кусты рядом зашуршали, чье-то лицо замаячило. Хоть и туман перед глазами, узнал: отец Тибор! Грязный, побитый, исцарапанный, но живой — глазами хлопает!

Собрался я с силенками, на ноги встал: Лота — вот о ком надо прежде думать! Некогда нуни распускать!

Шагнул вперед — раз, другой. Качает, к горлу дурнота подкатывается, но ничего, иду, не падаю. По плоскости иду, и ничего надо мной не висит, не давит, будто невесомый я. Ох, и странное чувство, скажу я вам!.. Но стало быть, жить можно, ведь не умер же, дышу, вот и остальные вроде шевелятся...

Оглядываюсь, Лоту ищу. Солдатня вперемешку с ватажниками в землю вжимается, кое-кто мычит с перепугу, из канала — вой. Лоты нигде не видать. Может, в канал ее забросило?..

Только двинул туда — полыхнуло что-то в небе, словно взрыв! Вспух над головой бело-желтый шар, засиял невиданно, ослепил! Рухнул я, как подкошенный, под кустик какой-то заполз, замер. Вмиг сообразил: атомный взрыв это, вот что!.. С детства слышаны о войне этой самой — знаем!.. Значит — решился все-таки экзарх, на все пошел, будь он проклят!..

Потом, чувствую, кто-то меня за плечо трясет. Дернулся я, как ужаленный, поднимаю голову — Лота! Сидит на корточках, лицо вверх, под этот чудовищный, испепеляющий свет — и смеется!

— Ну, что ты, глупышка!.. Это же просто солнце! Это же наше с тобой солнышко!..

В мозгах моих что-то перевернулось со скрежетом сумасшедшим и лопнуло. Не помню, как на ногах очутился — слезы градом, коленки трясутся. Вокруг — черт-те знает какие цвета, все изменилось: трава, листья, камни, сама земля! Ветерок подул — теплый, ласковый, запахи какие-то одуряющие, в траве — зеленой!!! — живность степная надрывается. Вокруг солдаты зашевелились, кое-кто уже на карачки встал. Из канала народ недорасстрелянный потихоньку выползает — морды очумелые, к земле жмутся. И свет, целый океан света!..

Потом прямо с неба свалилась какая-то громадная штукавина, вроде шара белоснежного. Шлепнулась рядом, в сотне шагов, лопнула, как зрелая тыква, люди оттуда посыпались — и к нам: орут, руками машут, чисто психи какие!

А впереди всех, широко раскинув руки, мчит-ся невысокий крепыш с белобрывыми волосами. Екнуло тут у меня сердце: неужто он?! А что, у них и не такое возможно!..



Строки из писем — с комментариями и без

Нельзя ли расширить раздел фантастики, печатать наряду с новыми произведениями те, что вошли, если можно так выразиться, в золотой фонд фантастики?

П. Морозов, 31 год,
бурильщик, г. Зарафшан Навоийской обл.

Нет переводной фантастики. Слишком много рассказов, нет романов, мало повестей...

А. Висящев, 39 лет, инженер, г. Тула.

«Уральский следопыт» — не специализированный НФ журнал, и фантастике в нем отводится заметное, может быть, но в целом достаточно скромное место: за год мы печатаем 2—3 повести и до десятка рассказов. Едва ли целесообразно давать вместо них один большой роман: это явно обеднит журнал. Сознательно не печатаем мы и переводную фантастику: полагаем главным для себя всемерно способствовать развитию современной отечественной НФ. Поэтому же лишь изредка обращаемся и к «золотому фонду» (печатали А. Грина, А. Белая).

Так как вы, наверное, перепечаткой журналов не занимаетесь, то прошу вас печатать фантастику из «Следопытов» прошлых лет. Их сейчас практически не достать.

В. Дроздецкий, 8-й кл.,
г. Мамлютка Северо-Казакст. обл.

Наш журнал еще не настолько великовозрастен, чтобы позволить себе это. Кроме того, наиболее достойное из опубликованного нами вышло отдельными книгами и в коллективных сборниках, ну а кое-что — будем откровенны — попросту успело устареть

Жаль, что в журнале печатаются лишь местные фантасты. Хотелось бы увидеть что-нибудь Е. Гуляковского или же В. Савченко.

В. Алексеев, 30 лет,
весовщик, с. Бармашово Николаевской обл.

Не в оправдание, а для справки сообщаем, что публиковались у нас и Е. Гуляковский (повесть «Сезон гуманов», 1979), и В. Савченко (повесть «Встречники», 1980), и многие другие не местные авторы — как молодые, так и маститые.

Хочу поблагодарить редакцию за то, что вы каждый год печатаете библиографию изданий фантастики, вышедших за предыдущий год. Хотелось бы, чтобы вы это продолжали делать и дальше.

А. Федоренко, 16 лет, г. Харьков.

По ряду причин в минувшем году мы отступили от этой традиции и теперь, наверстывая упущенное, предполагаем поместить перечень новинок 1985—1986 годов в одном из летних номеров.

Почему-то в вашем журнале нет публикаций НФ поэзии. С чем это связано? Ведь в «Технике — молодежи» такие публикации печатаются уже несколько лет подряд?

О. Величко, 20 лет, г. Донецк.

Публикация стихов предусмотрена статутутом нашего журнала, и мы печатаем их в каждом номере. НФ поэзию же не выделяем, поскольку не считаем ее сформировавшимся самостоятельным потоком.



Игорь НЕПЕИН

ЖИЗНЬ

Вверху слева — барон Сергей Григорьевич Строганов (1707—1756). Портрет работы Ивана Никитина. Государственный Русский музей; справа — граф Александр Сергеевич Строганов (1737—1811). Портрет работы Александра Рослина. Государственный Русский музей.

Внизу слева — граф Павел Александрович Строганов (1772—1817). Портрет работы Джорджа Доу. Государственный Эрмитаж, Военная галерея Зимнего дворца; справа — граф Александр Павлович Строганов (1795—1814). Миниатора работы неизвестного художника. Государственный Эрмитаж.

Фоторепродукции И. Горюева



Гражданина ОЧЁРА

Беспокойный восемнадцатый век... «Мы приближаемся к состоянию кризиса и к веку революции,— пророчески писал Руссо.— Я считаю невозможным, чтобы великие европейские монархи продержались бы долго».

Свободолюбивые мысли французского философа расшевелили многих его современников, и не только во Франции.

...1789 год. Из Швейцарии в Париж по заснеженным дорогам катила довольно вместительная коляска. Пассажиров было трое. Старший — француз Жильбер Ромм, ему за сорок. Этот человек был известен многим. Его редким, философского склада умом восхищались ученые и писатели. Среди знакомых Жильбера были Эйлер и Паллас, Державин и Крылов. Екатерина II искала бесед с ним. Внешне Жильбер был уродлив, но стоило ему заговорить — уродство не замечалось.

Спутники его русские. Один из них — его воспитанник, сын просвещенного вельможи графа Александра Сергеевича Строганова Павел, или, как его называли близкие, Попо. Ему едва минуло семнадцать. Был он строен, красив собою, с изысканными манерами, одним словом — граф.

Французским Попо владел так же свободно, как и русским. Родители его сразу после своей свадьбы умчались в Париж. Там он и родился. Крестным отцом Попо был великий князь, наследник престола Павел Петрович, будущий император Павел I. Он в то время путешествовал по Европе со своей второй женой (граф и графиня Северные — так они представлялись). Видно, в честь будущего императора Строгановы назвали своего первенца. Пять лет было Павлу, когда его привезли в Петербург из Парижа. Приехал в Россию и гувернер Попо Жильбер Ромм.

О графине Строгановой существуют разные мнения в литературе. К. Коницев в «Повести о Воронихине» говорит о ней как о человеке ленивом, беспечном и глупом. Однако современники пишут о ней иначе. Известный поэт того времени князь Иван Михайлович Долгоруков в своих мемуарах «Книжка моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни» писал о Строгановой:

«Женщина характера высокого и отменно любезная. Беседа ее имела что-то особенно заманчивое, одарена многими прелестями природы, умна, мила, приятна; она обогатила себя в продолжительном путешествии с мужем в чужих краях, особенно в Париже, многими познаниями.

Там она беспрестанно была в обществе Мармонтеля, Вольтера и прочих философов. По приезде в Россию несчастная страсть к Корсакову была причиной всех ее злоключений: она разошлась с мужем и, приживши с Корсаковым несколько детей, принуждена была основать дом свой и жить в Москве, вне большого света и в строгом уединении домашнем... Она лишилась употребления ног и не могла несколько лет ходить и до самой кончины ездила по комнатам в коляске... Болезнь не отняла от нее веселости природной».

Время возвышения Ивана Николаевича Корсакова — фаворита Екатерины II совпало с приездом Строгановых из-за границы.

К Корсакову часто заезжал Пушкин послушать рассказы про пышный двор Екатерины II...

Отец Павла — Александр Сергеевич Строганов — был образованнейшим человеком своего времени. За границей

изучал физику, химию, металлургию. Всю жизнь собирал выдающиеся произведения живописи, валяния, редкие книги, монеты, медали. Бывал в картинных галереях Милана, Вероны, Болоньи, Венеции, Рима. Не пропускал ни одного аукциона, всюду приобретал художественные сокровища.

В 1800 году Строганов был назначен президентом Академии художеств, при нем она достигла расцвета.

Гнедич только с помощью графа мог приняться за перевод «Илиады». В знак благодарности он написал идилию «Рыбаки», в одном из героев которой современники узнали А. С. Строганова. Фонвизин читал ему свои сочинения. Державин посвящал оды. Богданович, автор знаменитой «Душечки», Крылов, Бортнянский были постоянными гостями графа...

Третьим спутником Жильбера был Андрей Воронихин — крепостной из пермских владений Строгановых. Павел и Андрей дружили с детства. Андрей был постарше, обладал редкой наблюдательностью. А. С. Строганов дал ему отпускную, и будущий архитектор путешествовал с молодым графом на правах друга.

Итак, Жильбер, Попо и Андрэ подъезжали к Парижу, где их ждали удивительные события. Вместо того, чтобы «постигать науки», Попо в рядах повстанцев будет сражаться на баррикадах, штурмовать Бастилию рядом со своим наставником. Объединяла их общность взглядов, ненависть к деспотам, любовь к французским просветителям — Вольтеру, Дидро, Руссо. Их девиз был: «Свобода, равенство, братство».

Друзья поселились в Сен-Жерменском предместье, самой лучшей части Парижа; Жильбер и Попо с утра до позднего вечера пропадали на всевозможных собраниях, Андрэ — в художественных салонах, на выставках, на лекциях в Академии. Вечерами с жаром обсуждали прожитый день.

Жильбер, заботясь о будущем своего воспитанника, предложил ему сменить фамилию.

— Тебе, дружок, безопаснее сейчас носить другую фамилию. Твоя известна всему Парижу. Не стоит привлекать к себе внимание, особенно шпики из посольства.

Долго думали, какую выбрать фамилию. Хотелось, чтобы она была необычная.

— Помнишь, Попо, завод в Очере? — подсказал Андрэ.

— В Пермской губернии? Отлично помню.

— Думаю, имя Павел Очер любопытным ни о чем не скажет.

— Прекрасно! — восторженно воскликнул юноша. — Я прославлю в веках имя далекого уральского селения.

14 июня 1789 года депутаты третьего сословия объявили себя Национальным собранием. Павел Очер принимает в его работе активное участие. Жильбер писал в Россию: «Мы не пропускаем ни одного заседания в Версале. Мне кажется, что для Очера это превосходная школа публичного права...»

14 июля Андрэ не находил себе места: не писалось, не читалось. Лишь под вечер он услышал возбужденные голоса своих друзей. Ввалились они почерневшие, пропахшие порохом, в синяках и ссадинах, на лице Попо царапина от пули. Они долго не могли успокоиться...

Еще с утра народ готовился к штурму Бастилии — королевской тюрьмы. Несколько смельчаков переправились через ров, окружавший крепость, и обрубили цепи подъем-

ных мостов. Пуля царапнула Попо, когда он мчался в крепость через один из мостов.

Говорили до утра. Поднимали тосты за победу.

Позднее Жильбер основал клуб «Друзей закона». Первым записался в него Павел Очер. Канцелярию и архив клуба возглавила Теруань де Мерикур. Эта очаровательная амазонка вела женщины на штурм крепости, выходила на трибуну с двумя пистолетами за поясом и саблей на боку, произносила пламенные речи, призывая народ на борьбу. Теруань была первой любовью Попо.

Павел Очер вступил в члены Якобинского клуба, ему был выдан диплом с девизом: «Жить свободным или умереть!» Якобинцы вошли в историю как великие буржуазные революционеры. Враги называли их «бешеными».

Несмотря на конспирацию, Павел был раскрыт.

В Париже на улице де Граммон в доме Леви располагалось русское посольство. Хозяин его, действительный тайный советник, кавалер многих орденов Иван Матвеевич Симолин, получил строжайшее предписание из Петербурга: добиться выезда из Франции всех русских. Кстати, в 1791 году он помог королеве Франции бежать в Варенн, снабдив ее паспортом на имя баронессы Карсер.

Симолин доносил президенту Коллегии иностранных дел графу И. А. Остерману: «Меня уверили, что в Париже был, а может быть, находится и теперь молодой граф Строганов, которого я никогда не видел и который не познакомился ни с одним из соотечественников. Говорят, что он переменял имя, и наш священник, которого я просил во что бы то ни стало разыскать его, не мог этого сделать. Его воспитатель, должно быть, свел его с самыми крайними бешеными из Национального собрания и Якобинского клуба».

Было бы удобнее, если бы его отец прислал ему самое строгое приказание выехать из Франции без малейшей задержки...»

Посол настойчиво искал следы Павла Строганова, усердие его не знало границ. В очередном донесении он писал: «...Ментор молодого человека по имени Ромм заставлял переменить свое имя и вместо Строганова он называется теперь Очер».

Я усилил свои розыски и узнал через священника нашей посольской церкви, что они отправились... пешком в матросской форме в Рион, в Оверни, что они рассчитывают остаться надолго и куда им недавно отправлены их вещи».

Дело дошло до Екатерины II. Граф А. С. Строганов по своему положению и придворному званию камергера мог видеть императрицу запросто, но при таких обстоятельствах он решил действовать официально и попросил высочайшей аудиенции.

Решено было послать двоюродного брата Павла Николая Новосильцева с письмом графа. «Если бы он не был Строгановым, — холодно заметила императрица, — я бы знала, что делать с бунтовщиком Павлом Очером».

Измучению Павла не было границ, когда к нему в Оверни заявился его двоюродный братец.

— Как ты нас нашел? — только и смог вымолвить.

— Наследник миллионного состояния и сын графа Строганова не иглолка в стогне сена.

Жильберу Ромму Екатерина запретила въезд в Россию. Трагична судьба этого человека. После того, как Ромм стал членом Конвента, он подписал смертный приговор Людовику XVI. А когда к власти пришла буржуазия, смертный приговор был вынесен ему и его товарищам. Они поклялись не даваться живыми в руки палачей. Ромм вонзил себе нож в сердце.

Не вынесла мучительных издевательств Теруань де Мерикур — она сошла с ума. Так погибли два самых близких Павлу человека. Его же ожидала тоскливая жизнь ссыльного в России.

Позади остались встречи с отцом, друзьями. Негласным повелением бунтовщик и смутьян Павел Строганов был сослан в подмосковное имение Братцево, где давно жила его мать.

Обитатели Братцево жили шумно и весело, каждый день полно гостей, самый важный, естественно, И. Н. Корсаков. Он приезжал в карете, украшенной гербом, с ним тьма гусаров. Вот общество, в какое попал Павел после пороховых парижских дней. Он уходил от этой никчемной суеты. По душе ему была грустная тишина полей, где он подолгу пропадал, слушая раздумный колокольный звон деревенских церквей.

Как-то мать посоветовала Павлу поехать по окрестным усадьбам, познакомиться с соседями. От нечего делать Павел решил съездить, развеяться, не ожидая, однако, ничего интересного для себя от этих знакомств.

Летним тихим утром его коляска неспешно катила мимо перелесков, небольших деревенок. Здесь в тишине были особенно слышны голоса птиц. Они ошалело металась над полем, радуясь новому дню. В первый раз за все время после возвращения из Франции Павел был спокоен. Притупилась боль по утраченным друзьям и надеждам.

Так незаметно подъехал он к Городне — имению Натальи Петровны Голицинной. Она была внучкой графа Андрея Ушакова — того самого Ушакова, который славился своей жестокостью, необузданным нравом на всю Россию. Внучка была похожа на деда не только внешне. Наталья Петровна появилась впервые при дворе императрицы Елизаветы. Позже была подругой Марии Саввишны Перекусиной — ближайшей доверенной Екатерины II. Служила для испытания молодых людей, предназначенных в «случай». Слово ее, замолвленное при дворе, ценилось высоко. Голицина устроила себе и своему семейству блестящее положение в обществе. Была она замужем за недалеким красавцем князем Владимиром Борисовичем Голицыным, известным в истории тем, что он доставил в Москву пленного Пугачева.

Голицина увековечена на полотнах известных художников.

И в русской литературе есть след княгини — в «Пиковой даме» в образе старухи-графини. Пушкин записал в своем дневнике: «Моя «Пиковая дама» в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной и, кажется, не сердятся».

Вот к этой-то высокооставленной особе и приехал с визитом Павел Строганов. Приняли его радушно. Софья, дочь княгини, была мила, без всякого жеманства. Павлу приятно было ее молчаливое внимание.

Ему отвели постоянную комнату, когда знакомство переросло в привязанность. А вскоре Софья Владимировна Голицина стала графиней Строгановой. В 1795 году у них родился сын Александр. Но жизнь в изгнании продолжалась.

А между тем судьба готовила Павлу еще одну немало важную встречу, которая повлияла на всю его дальнейшую жизнь.

...Таврический дворец. Осенний сумрачный вечер. Великий князь Александр Павлович засиделся допоздна в своем любимом кабинете с видом на Неву.

Наследнику престола подарила этот дворец его бабушка — императрица Екатерина. (В 1783—1789 годах архитектор И. Е. Старов построил дворец для князя Г. А. Потемкина-Таврического. После смерти князя дворец перешел в казну, сохранив название своего первого владельца).

Александр писал письмо своему бывшему учителю Лагарпу в Швейцарию:

«Мне думалось, что если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания

себя я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться игрушкой в руках каких-либо безумцев.

Это заставило меня передумать о многом, и мне кажется, это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена, и нация избрала бы своих представителей. Вот в чем заключается моя мысль. Я поделился ею с людьми просвещенными, со своей стороны много думавшими об этом.

Всего-навсего нас только четверо, а именно: Новосильцев, граф Строганов и молодой князь Чарторынский, мой адъютант, выдающийся молодой человек».

Внизу стояла дата — 27 сентября 1796 года.

Все письма в империи вскрывались. Выписывалось из них все, что могло заинтересовать императрицу. Об этом Александр Павлович, конечно, знал, поэтому он не стал посылать письмо по почте, а отправил его с верным человеком — Н. Новосильцевым.

Александр шел 19-й год. Он был склонен к размышлениям. Скрытный по природе, был осторожен, умело лавируя между двух враждующих дворов: старым — бабки Екатерины и молодым — своего отца Павла. Каждый стремился привлечь его на свою сторону, но доверять не следовало никому. Александр осторожно, но довольно настойчиво искал единомышленников.

Весной этого же года великий князь писал своему другу графу Виктору Павловичу Кочубею:

«В наших делах господствует невероятный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду... При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившиеся в нем злоупотребления; это выше сил не только человека, одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнить его дурно.

Следуя этому правилу, я и принял то решение, о котором сказал вам выше. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприятного прищца (я не могу еще положительно назначить время его отречения) поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы».

Один из приближенных Александра был князь Адам Чарторынский. Позднее в своих мемуарах князь писал: «...Он сказал мне, что совершенно не разделяет возрений и принципов правительства и двора, что он далеко не оправдывает политики и поведения своей бабки и порицает ее принципы, что его симпатии были на стороне Польши, что в его глазах Костюшко был великий человек.

Он признавался, что ненавидит деспотизм везде, в какой бы форме он ни проявлялся, что любит свободу, которая, по его мнению, должна принадлежать всем людям, что он чрезвычайно интересовался французской революцией, что он желает успеха республике...»

При таких взглядах великого князя естественно появление в кругу его близких знакомых свободолюбивого Павла Строганова.

...Много раз А. С. Строганов обращался к Екатерине с просьбой разрешить сыну жить в Петербурге, но получал отказ. Напуганная революцией во Франции, она боялась — вдруг да в Россию перекинется свободолюбие. А тут человек принимал участие в штурме Бастилии — каков пример для подражания.

Лишь в начале 1796 года отец добился своего. Павел был счастлив. Вот она свобода, возможность действовать, быть полезным России — с этой мыслью изгнанник мчался в столицу.

Великолепный строгановский особняк на Мойке, наминавший своей величавостью венские дворцы, встречал молодого хозяина. На другой день после приезда Павла в особняк съезжались ближайшие его друзья, родственники. Давно так не было весело в старом родовом гнезде. Еще до приезда гостей Павел провел свою жену по всем комнатам дворца (автором его был сам Растрелли), как по музею. Чего здесь только не было! Каждая комната в своем стиле. Рафаэлевские арабески, золоченая мебель, изделия из уральских камней — яшмы и малахита. В уютном кабинете графа — портреты предков кисти известных мастеров. Из всех Софья выделила один портрет — овал, вписанный в прямоугольник. Молодой человек с горделиво поднятой головой, в черных латах, эффектно оттеняющих белую рубашку и шейный платок. На правое плечо накинут коричневый плащ...

— Смотри, он не позирует, а словно проходит перед нами и на миг только остановился, чтобы улыбнуться нам... Кто это?

— Дедушка, барон Сергей Григорьевич. Писан знаменитым художником петровского времени Иваном Никитиным. При Анне этот художник был сослан в Тобольск, возвращен Елизаветой, а умер он все-таки в ссылке.

Павел подошел к портрету и на обратной его стороне прочитал: «Малевал Иван Никитин в Санкт Питер Бурхе в Марте мце, 1726 год».

— Больше ни одной работы, подписанной самим художником, не сохранилось. К сожалению, некоторые вообще неизвестно где.

Дед Павла, портретом которого так заинтересовалась Софья, был женат на Софье Кирилловне Нарышкиной — сестре матери Петра I. Баронское достоинство было пожаловано ему Петром в 1722 году. Действительный камергер, генерал-лейтенант, кавалер орденов Александра Невского и Анны I степени, он был добрым человеком. В «Академических ведомостях» по поводу его кончины сказано: «Он око был для слепых, нога хромым и всем был друг».

Сергей Григорьевич интересовался искусством, много тратил на приобретение редких художественных произведений, дружил с Растрелли, основал картинную галерею Строгановых. Были в ней работы Боттичелли, Тинторетто, Рембрандта, Ван Дейка, Пьетро Перуджини.

(Все картины и художественные ценности строгановского дворца были переданы Эрмитажу и Музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. В настоящее время бывший дворец Строгановых — жилой дом.)

На обеде, устроенном в честь возвращения Павла, был и князь Адам Чарторынский. Здесь-то он и доверил Павлу признания и намерения своего патрона — великого князя Александра. Известие о том, что человек, который со временем может стать императором, — сторонник конституции, потрясло Павла. Весь вечер он был задумчив. «Вот с кем найду общность взглядов на государственное устройство России. Свобода, равенство, братство. Конституция. Равные для всех права и обязанности. О такой форме правления в России можно только мечтать. Неужели возможно, что эта мечта сбудется?» — об этом весь вечер думал Павел.

— Ваше участие в французской революции восхищает Александра, — сказал на прощание Чарторынский.

Потянулись дни ожидания. Однажды ко дворцу подъехала придворная карета за Павлом. Домой вернулся он уже камер-юнкером. События следовали одно за другим. 7 ноября 1796 года умерла Екатерина II. Кратковременное царствование Павла принесло Строгановым новые милости: отец получил звание обер-камергера, сын — камергера. Было пожаловано графское Российской империи достоинство.

Однажды вечером приехал взволнованный князь Адам. Они уединились с Павлом в кабинете.

— Садитесь, князь, рассказывайте, что стряслось.

— Я только что говорил с великим князем о вас и Новосильцеве.

Тут взволновался Павел:

— Что же он сказал?

— Он решил посвятить вас в свои тайны и приобрести к замыслам.

— Ну слава богу, — облегченно вздохнул Павел.

Из записок князя Адама Чарторьского:

«Это произошло в Петербурге, а осуществилось в Москве, во время коронации. Согласились собраться в известный день и час в уединенном месте. Великий князь к нам присоединится».

Убежденный либерализм Павла, его таинственная жизнь в Париже произвели на наследника самое благоприятное впечатление. Подружились и их жены, о чем свидетельствуют многочисленные письма императрицы, хранящиеся в фамильном архиве Строгановых в Марьино.

Император Павел с недовольством присматривался к друзьям наследника и вскоре разослал всех подальше от России, кроме Строганова. Кочубей — во Францию, Новосильцева — в Англию, Чарторьского послом к королю Сардинскому в Италию.

Но недолго царствовал Павел. Он был задушен недругами-дворянами в своей собственной спальне.

Итак, Александр — император.

9 мая 1801 года Павел Строганов вручил царю «Записку по поводу начал для государственных преобразований». Он писал:

«Реформа должна быть созданием государя и всех тех, которых он выберет своими сотрудниками... Дать свободу при неприкосновенности имущества, ввести управление справедливое, на почве нужд родной страны... Необходимо создать комитет. В основе своей организации и по способу работы он должен быть негласным».

— Кого же ты мыслишь членами? — спросил Александр.

— Тех, кто разделяет ваши взгляды на будущее устройство России. Для кого главное не чины и ордена, а благо народа. Желательно в составе видеть Кочубея, Новосильцева, Чарторьского.

— Себя забыл, Павел Александрович. Ты у нас самый горячий сторонник отмены крепостного права и введения конституции.

— Но и вы желаете сей бескровной революции, проведенной сверху.

— Давно об этом мечтал и не раз говорил. А много ли в империи найдется людей, способных отказаться от чинов, орденов, от деревень с крестьянами. Постараюсь прекратить эту практику жаловать крепостных.

Разговор был несколько натянут, что слегка встревожило Павла.

Вскоре вернулись в Россию Кочубей, Новосильцев и Чарторьский. Они одобрили проект Павла Строганова. Сообща назначили день заседания Негласного комитета.

Между Павлом и Адамом произошел разговор, который не принес им радости. Чарторьский рассказывал:

— Я был принят царем радушно, но весьма сдержанно, чего ранее не было. Он перестал думать об отречении, видимо, под влиянием внешних обстоятельств. Да, в нем вырабатывается более практический взгляд на дела. Посмотрим... Но мне кажется, что он боится тех трудностей, которые обязательно возникнут при осуществлении многих задуманных в порыве юношеских увлечений реформ.

Комитет разделил работу на три части: 1. Изучить действительное состояние государства в настоящем виде. 2. Произвести затем административные реформы по разным частям управления. 3. Увенчать все эти преобразова-

ния конституцией, которая ручалась бы за прочность административных реформ.

Ведущая роль в комитете принадлежала Строганову. На заседании Негласного комитета Строганов произнес замечательную речь обвинителя крепостного права.

— В деле освобождения крестьян, — говорил он, — заинтересованы два элемента: народ и дворянство. Неудовольствия и волнения относятся, очевидно, не к народу. Что же такое наше дворянство? Дворянство сельское не получило никакого воспитания; ни право, ни справедливость — ничего не может породить в нем идеи даже о малейшем сопротивлении. Это класс общества самый невежественный, самый презренный по духу своему, самый тупой... Большинство же крестьян одарено большим умом и предприимчивым духом, но, лишённые возможности пользоваться тем и другим, они суждены коснеть в бездействии и тем лишают большинство трудов, на которые способны. У них нет ни прав, ни собственности. Нельзя ожидать ничего особенного от людей, поставленных в такое положение... К помещикам, своим природным притеснителям, они относятся враждебно, с ненавистью...

Павел стоял перед членами комитета, словно на улице в Париже в красном колпаке якобинца, призывая народ к свержению королевской власти.

— Клич свободы звенит у меня в ушах, и лучшим днем жизни моей будет день, когда я увижу Россию возрожденной подобной революцией, — закончил он.

Слушатели притихли, только Кочубей прошептал:

— Слава богу, что подобных речей не слышит чернь.

Император неожиданно для всех сухо и жестко произнес:

— В чем же ты видишь опасность при отмене крепостного права?

Павел был возбужден и говорил громко, значительно громче, чем было принято здесь, во дворце.

— Если во всем этом есть опасность, то она не в освобождении крестьян, а в удержании крепостного состояния.

В наступившем молчании прозвучали отчетливые слова:

— Это слишком серьезно, я должен подумать, дело касается всей России.

В начале XX века вышло трехтомное исследование великого князя Николая Михайловича «Граф Павел Строганов 1774—1817». В предисловии ко второму тому автор писал:

«Говорят и повторяют, что все преобразования, над которыми так много потрудились в первые годы XIX века, исходили от Александра I... Это не столько недоумение, как большая ошибка... ни одна из произведенных в то время реформ не исходила от него лично, что все они были не без труда внушаемые ему, причем его согласие добывалось нередко с большими усилиями. Император Александр никогда не был реформатором, а в первые годы своего царствования он был консерватор более всех окружавших его советников».

На пути преобразований стоял неопытный, мягкий и ленивый характер Александра I. В это время проявилась, впоследствии стала развиваться известная черта характера Александра I — наружная оборотительная любезность, за которой никто не мог уловить настоящих чувств его, и какая-то кокетливая скрытность чуть ли не перед самим собой».

Деятельность комитета дала России восемь министерств: военных и морских сил, иностранных и внутренних дел, коммерции, финансов, народного просвещения и юстиции, государственного казначейства на правах министерства. Каждому министру предписывалось создать канцелярию и иметь товарища (заместителя).

Павел Строганов шел по пути крупного государствен-

ного деятеля, но судьба распорядилась иначе. После того, как Александр выписал себе в Петербург графа Аракчеева, прежние единомышленники окончательно разошлись во взглядах. 20 ноября 1803 года Негласный комитет заседал последний раз.

Император как бы откупался от Павла Строганова, дав ему чин тайного советника и назначив сенатором и товарищем министра внутренних дел В. П. Кочубея. Как отмечали современники, Александр предпочитал посредственность, а гений и талант пугали его.

Строганов, конечно, понимал, что его государственная деятельность кончилась крахом.

После Аустерлица Александр посылает Строганова в Лондон в качестве дипломата. Почетное удаление от дел было очевидным. Для деятельной натуры Павла была невыносима пустота, образовавшаяся после крушения стольких надежд. Он решил перейти на военную службу. Великий князь Николай Михайлович в своем трехтомнике писал:

«Несомненно, что решение это произошло после усиленной внутренней борьбы с самим собой, что разочарование в царственном друге было велико и что огорчение от перемены мыслей императора Александра больно отразилось на отзывчивой натуре Строганова.

Нравственное состояние Павла Александровича было таково, что ему хотелось как бы забыть все прошлое и искать развлечения в поэзии битв, что так мало подходило к свойствам его человеколюбивого нрава».

Из всех дворянских родов Российской империи род Строгановых значительно выделялся своими государственными заслугами. Этому роду не доставало только военной чести. Павлу Александровичу было предоставлено судьбою прибавить такую честь к другим заслугам Строгановых. Он пришел в армию не генерал-лейтенантом, что соответствовало его чину, а простым волонтером (добровольцем). Это было в духе Павла Очера. Пример единственный в русской армии. Послужной список П. А. Строганова заполнен описанием подвигов во славу русского оружия.

Кампания 1806—1807 годов в Восточной Пруссии во время войны с Францией. Здесь впервые проявился военный талант Строганова, а мужества и храбрости ему было не занимать. Он сражался в войсках М. И. Платова, командовал уже одним из лучших казачьих полков — Атаманским. В майском сражении на реке Алле был разбит корпус маршала Даву.

Главнокомандующий генерал Л. Л. Бениксен, кстати, один из убийц императора Павла, писал А. С. Строганову:

«Мне весьма приятно уведомить ваше сиятельство, что сын ваш, хотя и не служа в воинской службе, отличился необыкновенным образом, сделав знаменитый подвиг... Позвольте ваше сиятельство поздравить вас с толико достославным сыном вашего подвигом».

Как память о славных делах Павла хранились у Строгановых маршалский мундир Даву, шляпа и футляр от маршальского жезла. Сам же жезл, как наиболее почетный трофей, был выставлен в Казанском соборе (в настоящее время жезл хранится в Эрмитаже).

Павел Строганов за битву на реке Алле был награжден Георгием III степени. Из тайного советника, камергера двора и сенатора переименован в генерал-майоры и был назначен командиром лейб-гвардии грендерского полка, расположенного в Петербурге.

Началась война со Швецией, и Строганов ни минуты не задерживается в столице. Теперь уже он сражается в корпусе прославленного русского полководца П. И. Баграциона.

После заключения мира со шведами едет на юг России, на берег Дуная, где шла война с турками. И здесь он только на передовой. Был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость», орденами святой Анны I сте-

пени, Владимира II степени с девизом «Польза, честь и слава». В 1811 году при освящении Казанского собора был пожалован в генерал-адъютанты, включен в свиту императора.

Только прогремели первые залпы Отечественной войны в 1812 году, Павел Строганов помчался на запад и принял под свою команду сводную грендерскую дивизию, входившую в состав 3-го корпуса под командованием генерал-лейтенанта Н. А. Тучкова. За Бородино Строганов получил звание генерал-лейтенанта.

Он ненавидел Наполеона всей душой. Свою ненависть к властолюбцам он выместил на этом узурпаторе.

Из-за болезни Павел был вынужден уехать с фронта в Петербург. Немного подлечившись, снова едет в действующую армию. На этот раз он взял с собой и 18-летнего сына Александра. Успели как раз к Лейпцигскому сражению. Мужество Павла и здесь было отмечено орденом Александра Невского с девизом «За труды и отечество». Насколько орден был важен, можно судить по тому, что адмирал Ф. Ф. Ушаков такой орден получил за полное истребление турецкого флота при Калиакрии.

23 февраля 1814 года началось сражение под Краоном. Сам Наполеон возглавлял его сражение. Бой был свирепый. Строганов стоял в резерве за двумя передовыми линиями Воронцова, подкрепляя его свежими полками. И в это время он получил страшное известие: сыну ядром оторвало голову.

Пушкин в черновиках «Евгения Онегина», не вошедших в окончательную редакцию, писал:

О страх, о горькое мгновенье,
О Строганов, когда твой сын
Упал сражен и ты один...
Забыл и славу и сраженье
И предал славе ты чужой
Успех, достигнутый тобой.

Спустя два дня Павел снова бился в самом адском месте — под Лаоном. Может, искал смерти, но пули обходили его.

Ни золотая Георгиевская звезда II степени — это редкое отличие для военного с девизом «За службу и верность» (Георгий I степени за войну 1812 года получил только Кутузов), ни сочувствие друзей не могли уже утешить Павла.

Через всю Германию ехал отец с траурной ношей — останками единственного сына.

Смертельная болезнь, тающаяся в груди, стала быстро развиваться. И 10 июня 1817 года не стало последнего мужского представителя столь славной ветви знаменитого рода. Павел умер на корабле, не дотянув до Копенгагена, куда везла его Софья подлечиться. Чувствуя, что умирает, он попросил жену оставить его одного. Только племянник был свидетелем последних минут этого славного человека, пожертвовавшего всем ради блага отечества.

Император с императрицей провожали друга молодости до самой Александрово-Невской лавры, где его похоронили рядом с сыном.

В знаменитой военной галерее Зимнего дворца портрет П. А. Строганова помещен в первом почетном ряду. Россия гордится своим гражданином-воином.



Анна ТУРУСОВА

Рисунки Олега Шапкина

Куда уходит САМОВАР

I.

Ванюшка шагает молча и все время смотрит себе под ноги. Я чувствую, что ему одиноко. Причин для этого много. Какая из них его тяготит, я не угадываю. А может, и все сразу.

Во-первых, папа с мамой уехали в Болгарию. Огорчило, что ему нельзя с ними, но еще больше обидело, что он узнал об этом последним, когда дома уже появился новенький черный чемодан и, холодно сверкнув металлическими застежками, лег на стол.

Во-вторых, отвезти его к бабушке с дедушкой — из Москвы в уральскую деревушку — поручили чужой тете, то есть мне. Конечно, я была маминой давней и хорошей знакомой, но все равно в пути с мамой или папой надежнее. Вероятнее всего отдыхал бы он сейчас где-нибудь в лагере, если бы я не подвернулась со своей командировкой, не зашла к ним в гости по старой памяти и не уговорила отпустить его со мной.

В-третьих, Ванюшка совсем не помнил деда с бабкой: гостил у них лет шесть назад, когда только-только начал ходить в детский сад.

Но не знал еще Ванюшка главного — ему целый месяц предстояло жить во взрослом окружении, без сверстников.

Деревушка — пятнадцать дворов — уютно сидит на холме, вытянувшись в одну нитку вдоль дороги, и вся на виду. Осели в ней егеря и лесники, седые, молчаливые, много походившие по земле. Молодых здесь удержать не удавалось: у них росли дети, а тут — глушь, ни школы, ни больницы, — и все потихоньку перебирались

ближе к райцентру, а то и вовсе отворачивались от родных мест.

— Вань, ты хоть помнишь, как бабушку зовут? — спрашиваю я, устав от нашего хмурого молчания.

— Настей.

— А раньше ее звали Настусей.

— Зачем?

— Не знаю. Должно быть, так ласковее. Настуся... Правда, ведь, ласковее?

Ванюшка неопределенно пожимает плечами.

— Еще зовут Меланихой. Как многих бабушек в деревнях — по фамилии, только фамилию немного переделывают.

— Как в школе, что ли?

— Ну да, как будто поддразнивают. Зато дед у тебя пресерьезный. Его все по имени-отчеству зовут — Фрол Матвеевич.

— А вы откуда знаете?

— Мы вместе с твоей мамой учились в институте. А на каникулы сюда частенько приезжали. Я и сейчас живу недалеко отсюда — четыре часа автобусом...

Вечереет. Солнце наполовину скрылось за лесом. Кажется, оно давно бы скатилось целиком вниз, если бы не зацепилось ненароком за колючие верхушки сосен.

С первого же двора проворно выглядывает пожилая женщина и радостно любопытствует:

— Ай в гости к кому?

— К Меланиным, — отвечаю я.

— Не худо. Враз к парному молочку, — женщина остается у ворот, вытирая фартуком руки.

— Чего это она?

— Да ничего, Ваня. Интересно ей. Они же здесь все знают друг друга. Вот стоит она сейчас и гадает, кто мы, откуда мы и надолго ли...

Ваня оглядывается и растерянно бормочет:

— И правда, стоит...

У второго двора нас весело облаивает замызганная собачонка. Глаза у Ванюшки расширяются. Он приседает перед собакой на корточки и доверительно шепчет:

— Ну чего ты, чего? Псочка, псочка... Чумазенькая...

Анна Александровна Турусова родилась в Магнитогорске, в семье первостроителей металлургического завода. Закончила филологический факультет пединститута. Три года преподавала иностранный язык, а с 1963 года стала работать на телевидении. Вместе с мужем — металлургостроителем — пять лет была за рубежом: 1970—1972 гг. — в Иране, 1980—1983 гг. — в Пакистане. Из зарубежных поездок привезла стихи и прозу. Публиковалась в местной и областной газетах, в альманахе «Каменный пояс» и коллективном сборнике «Монолог».

В нашем журнале выступает впервые.



Собака непонятно ухмыляется и уползает в подворотню.

Крупная беломордая корова стоит против избы и сонно двигает челюстями. Она еще ненасытно косит глазом на траву вдоль забора, но щипать ей явно лень.

В меланинском палисаде буйно сияют васильки. Под ними копошатся непривычно рябые и пестрые куры. У притворенной калитки ходит важный и нарядный, в немислимо синих отливах петух. Он несет свой гребень высоко и гордо, как королевскую корону.

— Вот это да! — восхищенно замирает Ванюшка...

— Никак Ленка! — Меланина поднимается с крыльца, на котором она чистит картошку. — Каким путем-дорогой?

— Здравствуйте, тетя Настя! Вот внука вам привезла из Москвы.

— Ай-ай! Так это Ваньча?! Какой вымахал!.. Да сымай ты котомку, сымай. Дай гляну на тебя...

— Это не котомка, а рюкзак, — Ванюшка корбленно держит свои вещи.

— Пошто не котомка, ежели мешок? — ласково удивляется бабушка. — Надо же, как снег на голову... Ну деду утеха будет! Пойдем в избу, пойдем. И дом-то у меня не обихожен нынче. И покоровничала я только-только, — сокрушается она. А глаза сияют. Привыкшая к несуетливой размеренной жизни, она сейчас торопится, кружится у печи, хватаясь невпопад то за

одно, то за другое. Белый платок сбит набок, и тетя Настя смешно, как тибетейку, берет его двумя пальцами за макушку и сбрасывает на лавку. Голову туго обхватывает простенькая серая гребенка. Меланина проводит ею по разлетевшимся волосам, собирает их в пучок, калачиком закрепляет на затылке той же гребенкой и остается без платка, помолодевшая, осветленная улыбкой, очень похожая на ту, давнюю, из поры моих студенческих каникул.

— Ополоснуться вам с дороги надо. Я сейчас, — и уже гремит во дворе рукомойником. Через минуту доносится: — Выходите, водичка хорошая, в бочке протеплилась. Ваньча, прихвати там на гвозде полотенце браное!

— Это как — браное? Которым вытирались?

— Да нет, скорее вон то, другое, шитое красным, — не очень уверенно показываю я Ване.

— Это, это, — радостно кивает бабушка внуку. — Ну вот и обмывайтесь, а я в погреб слажу. Ой, утеха-то деду будет, ой, ей-богу! Мы тебя сроду один раз видели и то махоньким...

Ванюшка с любопытством горожанина обходит двор. Трогает разбросанные у сарая обечайки, покосившуюся двуколку, деревянное корыто с водой, заглядывает с надеждой в пустую, почерневшую от времени конуру.

— А почему у вас собаки нет? — встречает он вопросом бабушку.

— Да как нет? Есть собака. С дедом блукает.

— Как это?

— А так. Дед на двоих, а собака на четырех.

— А-а,— успокаивается внук.

Я осторожно интересуюсь здоровьем Фрола Матвеевича. Знаю: привез он с войны не очень чистые легкие и не раз лежал в больнице.

— Да оно б ничего, Лен, вот только на глаза худой стал. Два Демида, и оба не видят. А служить надо. Хотя и на покой уже не грех. Однако ж как на него идти? Погибель ведь — тоска припадет, враз ноги протянешь. А пока ничего: хлеба край, и пошел в рай — леса-то вон какие красивые...

Накрытый стол манит здоровой простотой. Ванюшка поглядывает на необычно высокую булку хлеба и плотную, как масло, сметану, которая не растеклась по тарелке, а стоит белой круглой горкой. Рядом лежат свежeweмытые, с капельками воды, редиска, лук, укроп. На сковороде шипит яичница, в чугунке варится картошка, и вода над ней яростно подпрыгивает. Ждем хозяина.

Фрол Матвеевич начинает разговор с самого порога:

— Ну поглядим, что за гости. Вся Лысовка знает, что у Меланихи гости, один Меланин не чует, даром, что с собакой. Вот те на! Я уж думал, ты с кавалером, раз столь много шуму по деревне. А тут... Здорово, Лена батьковна! Что смеешься? Лысовка она и есть Лысовка: я еще не чихнул, а мне уже говорят «будь здоров»... Здорово, мужик! Ты чей будешь?

Тетя Настя цветет:

— Вишь, старый, и Лысовка не все знает. Ванюшка это, внучек наш. Из самой Москвы к тебе на каникулы приехал!

— Вот это да! Так ты внук? Дай же обниму покрепче! Ну уважил, так уважил!.. А ничего, маслястый растешь. И руку крепко держишь... А где ж батька с маткой?

— В Болгарии они, отдыхать уехали.

— Ишь ты! — Фрол Матвеевич отпускает внука, садится на стул и, сняв картуз, надевает его на колено. — Ишь ты!

В этом коротком «Ишь ты!» прежний дядя Фрол, с хитрецей, с подвохом, с мелкими, неострыми, но все-таки камушками за пазухой. «Ишь ты!» может означать и высокое уважение: ишь, куда махнули! И обыкновенное презрение: ишь, променяли свое на что! Тетя Настя в его коротком молчании схватывает что-то недосказанное или, может, сказанное промеж собой, без нас, и, чтобы избежать продолжения разговора, тормозит мужа:

— Чего ты расселся, как в гостях? Хлеб заждался, и мы тоже.

— Я что? Фрол за стол всегда готов! Пойду малость почищу.

— А можно, я собаку посмотрю? — робко идет Ваня за дедом.

— Чего ж нельзя? Можно, конечно.

— Она злая?

— Если тронешь больно, может и озлиться. А так — небось, не укусит.

— А как ее зовут?

— Шайтаном кличут. — Поймав мой вопросительный взгляд, Фрол Матвеевич добавляет: — Шайтан внук Шайтана.

Пока их нет, тетя Настя тихо оправдывается:

— Обижается старик — редко дети наезжают. Трех народили, а ни детей, ни внуков не видим. А уж Ванюшке-то рад! Да ты сама, чать, чуешь. — Тетя Настя смахивает слезу углом передника и начинает сливать воду с картошки. Помолчав, она опасливо спрашивает о дочери: — Как они промеж себя — хорошо живут? Разладицы нет?

— Хорошо, тетя Настя. Работой довольны. Квартиру новую ждут. Да что ж я буду рассказывать? Вот приедут через три недели за Ванюшкой, сами поговорите.

— Оба-то, чать, не приедут?

— Наверно, Наташа прилетит, погостит у вас. Отпуск у нее подлинней.

— А малец вроде зовкий, небалованный?

— Ванюшка? Да нет, парень прекрасный...

Ужинаем шумно. Должно быть, давно в меланинском доме не было так весело. Только Ванюшка стесненно помалкивает. Он вслушивается в речь деда и бабки с любопытством и недоверием.

— А что, старая, в праздник и у воробья пиво водится, — заводит жену Фрол Матвеевич.

— И так полушатор ходишь, а все туда же. Да и усы обмочишь — совсем поседеют. На кой ты мне полинялый нужон? — и, отмахнувшись от мужа, Меланина снова и снова виноватится перед нами. — Вы уж не обессудьте, стол у нас скорый да нелакомый...

— Ваньча, не слухай бабку, — хлопает дед внука по спине. — Лакомый, нелакомый... Ешь все подряд, ежели мужиком родился. И не ломайся. Ломливый гость голодным останется. А ты, бабка, на завтра блинов поставь, да квашню одень потеплее.

— Учи, учи, как квашню ставить. А то ведь я молодушка, не знаю, — ворчит тетя Настя. — А квашню и впрямь нелишне поставить. Пойду-ка я закваски у Иванихи возьму...

— Ну, ну, — хитро покачивает головой Фрол Матвеевич и подслеповато подмигивает мне: видали мы таких. Я тоже прячу улыбку — на

столе хлеб домашней выпечки, и закваска в доме, конечно, есть.

Возвращается хозяйка с гордой усмешкой:
— Завидует нам, дед, Иваниха-то. Хорошо, говорит, внук у вас погостит.

— А сам что делает?

— Запил сам-то, суббота в доме. Об чем ему тужить? А чего пьет, чего пьет?

Фрол Матвеевич, расстроенный, отодвигает свою тарелку. Благодушная улыбка медленно, но тает, морщинки сереют, и в голосе сквозит злинка:

— С горя пьет—соли не на что купить. Опять на неделю. Кто за него работать будет? Черт лысый! Лишь бы елось да пилось, да на боку лежалось. Работнички! А-а!—Тряхнув тяжелой кистью влево, должно быть, в сторону пропащего соседа, старик Меланин обнимает внука.—Давай-ка, Вань, мы по горячей картошине положим. Да маслица добавим, а?

— Мне уже некуда,—смущается внук.

— Слабоват ты на еду. Вот прокачу тебя по лесам, проголодаешься, поглядим, что за столом запоешь.

— А на чем?

— Верхом.

— Правда?

— А кто ж нам мешает? Покажу тебе здешние леса, ты сроду таких не видал.

— А речка у вас есть?

— Есть тут одна лыва: дураку по пояс, а умный сухим пройдет. А так все леса.

— Как это — лыва?

— Да лужа большая.

— А ягоды есть?

— Куда ж им деваться? Вон тот опупок видишь? Со всех сторон ягоды,—тычет дед в окно.

— Как это — опупок? — безудержно и звонко хохочет Ванюшка.

— Опупок? Да... пригорок, что ли...—Меланин растерянно смотрит на меня. Выпустив внука из-за стола—тот сразу бежит во двор к Шайтану,—он озабоченно чешет мизинцем под усами.—Вот дожили—поговорить с внуком толмача надобно, не понимаем друг друга. И как же, Лен, это называется? Сближение города и деревни? Так, что ли?

И снова тетя Настя мягко уводит мужа от грустного разговора. Она, ахая и охая, разглядывает блестящие обертки московских конфет, которые я горстью выложила на стол. Фрол Матвеевич, вздохнув, начинает спрашивать о дочери и зяте, допытывается, какая же у них такая сложная работа, что совсем нельзя оторваться от столицы. Сидит он сутуло, уронив ладони меж колен, и еле заметно покачивается

на стуле взад-вперед. Время от времени ухмыляется из-под жестких усов: «Ишь ты!» И как всегда непонятно, затаил ли он уважение под этим полувздохом-полувосклицанием или же, напротив, прячет глубокое неодобрение. И думается мне, что вот так покачивается он и в лесу, целыми днями сидя в седле, и даже коню нет-нет да и бросит: «Ишь ты!»

— Ну, а сама как живешь?—вдруг резко поворачивается он вместе со стулом в мою сторону.—Там же, в райцентре? Как дети?

— Нормально, Фрол Матвеевич. Мама тоже держится. Дети с ней остались. Ждали меня сегодня, наверно, да вот задержалась на день.

— Так ты что же, не погостишь у нас? По ягоды не сходишь?

— Нет, мне завтра к первому автобусу выйти надо.

— У-у-у! Чего же мы сидим? Тогда спать. До большака три версты пехом топать. Ваньча! Притих что-то...

— Да с Шайтаном шепчутся,—будто что-то запретное, тихо подсказывает тетя Настя. Ванюшка, усталый, обмякший, сладко позевывает над растянувшимся у его ног Шайтаном.

— Вань, а хочешь спать там, где мы с твоей мамой спали?

— Где?

— На сеновале.

— Как это?

— Пойдем — узнаешь.

— И что хорошо — ноги мыть не надо,—посмеивается над ним бабушка, отправляясь за одеялом.

— А я уже вымыл,—кричит ей вслед внук и поднимает розовую пятку. Его полосатые носки валяются на нижней ступеньке крыльца, а в голосе слышится сожаление...

Деревня затихает. Где-то далеко устало ворчит трактор. Дopeвают последние песни птицы. Скрипнул колодезный ворот, и мимо меланинских пристроек кто-то тяжело прошагал с ведром: слышно, как выплескивается вода.

— Как интересно!—прыгает Ванюшка на сеновале.—Я в кино видел—в таких партизаны прятались. Пулемет в сено и тра-та-та-тат-та!

Тетя Настя, пожелав нам доброй ночи, уходит в дом. А внизу, у лестницы, еще долго беспокойно вышагивает Шайтан, тоскуя по той нежданной откровенной детской ласке, которая выпала сегодня на его долю.

В боковые щели струится синий сумеречный свет. Сено старое, утратившее неповторимый хмельной запах, отдает трухой и пылью. И все равно оно уютно шуршит под спиной, и шорох желанно трогает какие-то далекие излучины

памяти. Но я вдруг отказываюсь от воспомина- ний, хотя напросилась на сеновал с тайной мыслью вернуться на несколько минут в ясную и звездную свою молодость. Я просто слушаю тишину. После московских улиц и вокзального гомона она тревожно настораживает.

«А ведь это только здесь, только здесь,— де- лаю внезапно грустное открытие, и оно больно царапает по сердцу.— В больших деревнях не так. Молодежь, наверно, высыпала на улицу. Смех, гитары, транзисторы. А тут — тишина... Пятнадцать дворов...»

— Теть Лен...

— Ты что, не спишь? Может, тебя в дом про- водить?

— Нет, я не про то... Вы бабушку с дедуш- кой хорошо знаете?

— Да как тебе сказать? А что, собственно, случилось?

— Да так,—нерешительно замолкает Ваня и немного погода размыто и неохотно спраши- вает: — А они русские?

— Конечно. Почему ты сомневаешься?

— Чудно как-то разговаривают...

Вот это признание! Оно так горько, что я не нахожу слов для ответа. Зря, ой зря я вез- ла мальчишку в такую даль! Права была На- ташка: испорчу я ему каникулы. Пусть бы сидел себе в подмосковном пионерлагере.

— Ты уж прости меня, Ваня,— тихо говорю я в темноту.— Скучно тебе, наверно, будет. Очень я хотела стариков порадовать, вот и уго- ворила маму отпустить тебя к ним.

— Ничего, я с Шайтаном подружусь,— успо- каивает он. Ванюшка старается быть мужчи- ной, и его нарочито приподнятый тон еще боль- ше меня расстраивает. Я ищу выход. Наконец, заранее чувствуя неловкость перед Меланины- ми, решаю приехать через неделю и увезти мальчи- ка к себе: мои сыновья постарше, но, пожалуй, это к лучшему. Ваня встречает мое предложе- ние вздохом облегчения.

— А уж неделку-полторы ты поживи с де- душкой. Сам видишь, как они рады. Иначе с нашей стороны будет совсем неприлично.

— Это точно.

— Дед у тебя воевал, до Берлина не дошел, но поговорить с ним о войне тебе будет инте- ресно.

— Ага.

— Вот и ладненько. А теперь спать. Как-ни- как мне вставать с петухами.

— Как это с петухами?

— Поживешь — узнаешь,— смеюсь я.

Вскоре Ваня засыпает. Я же закрываю гла- за и, кажется, все еще вижу его распахнутый

взгляд и в нем — постоянно наступающий во- прос: как это? С тихой и лукавой радостью по- смеиваюсь над стариками Меланиными: ох и дойдет их внук вопросами, ах и дойдет!

II.

Я, как и обещала, приезжаю в Лысовку через полторы недели. Еду вечерним автобусом, с тем, чтобы вернуться, как и в прошлый раз, первым утреним. От большака почти до самой деревушки меня везет подвыпивший старик. Он всю дорогу поет назойливо и негромко одну лишь строчку: «Бам! Бам! Бам!». Фыркает ло- шадь. На тряской телеге лежит охалка свеже- скошенной травы и призывно-сладко пахнет: так бы и уткнулась носом в щекочущий аромат.

— К дождику лошадь-то фырчит,— роняет мужик в мою сторону.

Я задираю голову: над нами весело и на- хально чернеет туча.

Первые капли скользят по вискам, когда я подхожу к меланинским воротам. Во дворе тихо разговаривают:

— Ох Шайтан и лаял сегодня ночью! На кого это он, деда?

— А на луну,— беспечно отвечает Фрол Мат- веевич.

— Зачем?

— Чтоб спустилась пониже.

— А так — чтоб укусить можно было...

Дед и внук заразительно, словно наперегон- ки, смеются: а ну, кто звонче!

Меня они встречают по-разному. Ванюшка растерянно улыбается, и по его глазам я вижу, что он напрочь забыл о нашем тайном соглаше- нии, о моем приезде и, может, вообще о моем существовании. Меланин же с удовольствием, даже с легким злорадством поддевает меня:

— О, внучок, народный контроль прибыл. Что, душа болит? Думаешь, оброс малец мохом с тоски? Ну ладно, чего шарашисься? Знаю, знаю, увезти хотела,— старик хитро подмиги- вает внуку, и тот виновато отводит глаза.— Не обижайся. Проходи в избу. Там бабка вареники с капустой развела. В самый раз. Ваньча! Да- вай бабкины половики с плетня снимем, а то замочит...

Контакт между дедом и внуком прочитыва- ется сразу. Половики и те уже стали бабкины- ми, будто легла невидимая черта, по одну сто- рону которой они, мужики — дед и внук, а по другую — мы, то есть бабка и я, с нашими не- серьезными страхами и заботами.

И снова чай, неторопливый, субботный.

Дождь раза три принимается накрапывать, но землю покрывает вяло и скупно.

Ванюшка, поев, выскальзывает во двор и через минуту уже мчится с собакой мимо палисада.

— Вот так и носятся с Шайтаном,— с удовольствием замечает Фрол Матвеевич.— И не скажешь, кто шайтанистей — пес или малой.

— Ты, Матвейч, про баньку расскажи,— просит тетя Настя.

Старик Меланин берет папиросу, долго крутит ее, мнет сухими пальцами, смотрит на жену — выжидательно: «Ишь ты, так вот и рассказать?», потом на меня — заговорщицки: «А что, может, и впрямь рассказать?»

— Ну давай, давай,— подталкивает тетя Настя.

— Да забавник он, конечно,— ухмыляется Фрол Матвеевич. Он вспоминает неизвестное мне событие, но пока про себя, еще не решив, стоит делиться со мной или нет.— Так вот, затопила бабка баньку,— резко и серьезно начинает он.— Кричу: «Вань, пошли грехи смывать!» — «Как это?» — «Обыкновенно — мылом натремся, шайкой сполоснем».— «Какой шайкой?» — «Ну, тазиком по-вашему». Снял я портки, а он мешкает, стесняется, что ли. Ну, думаю, пусть раздевается, а я воды разведу. Оставил его в предбаннике, а сам голос ему подаю: «Вань, где-то там у нас банный начальник остался».— «Я сейчас!» И нет Ваньки...

Тетя Настя смеется, прилегая к столу, прикрыв ладонью глаза, в которых дрожат веселые слезы, смахивает их и подхватывает рассказ:

— Прибег ко мне: «Бабушка, вас деда зовут». Я бешмя к Фролу. У страха, сама знаешь, глаза велики. Годы у нас немалые, дрябнем потихоньку. Кто знает, где прихватит?

— Прибегла. Глаза вот такие,— Фрол Матвеевич показывает на чайные чашки.— А я штаны надеваю — Ваньку искать. «Ты чего пришла?» — «Как чего? Ты же сам прислал Ваньку!» — «Когда? Ваньча, что я тебе сказал?» — «Велели позвать бабушку!» — «А ну выкладывай, чего удумал?» — «Вы же сами сказали, где банный начальник?»

Меланины сладко, с упоением смеются, и с каждым новым всплеском смеха душе моей становится легче: я с нее снимаю груз, который взвалила в Москве.

— Теперь-то он знает, что в бане веник начальник?

— До новых веничков не забудет! — Фрол Матвеевич чиркает спичкой и подносит ее к измятой и истертой папиросе.— Вот соседи дони-

мают: «Скажи да скажи, Ваня, кто в бане наибольший?»

— Не обижается?

— Поначалу конфузилса,— винится Меланин-дед.— А теперь и сам смеется. Да и как обижаться? Любят его все. Один он на всю Лысовку. Да вот еще к Земсковым дочь свалилась с грудничком. Не испугалась. А Ванька малец усердный. Кому коня поддержит, кому корову загонит. Все ему в любопытство. Такой любезный, просто молодец!

Тетя Настя согласно кивает головой. Ее радует все: и удавшиеся вареники, и вкрадчивый дождь в палисаде, и не в меру разговорившийся муж, и чай, не горячий и не холодный, а такой, в самый раз, чтобы изредка, неспешно прихлебывать, коротая субботний вечер.

— Ох и радый он,— шепчет она, наклоняясь ко мне.

— Ох, ох! А ты не радая,— тут же налетает на жену Фрол Матвеевич.— Спокон веку внуки нужны были старикам, а старики внукам. Это сейчас все шиворот-навыворот. Мужик, ведь он как живет? Смолоду баб любит, потом — детей, а под конец — внуков.

— А баба, значит, не так? — берет меня взглядом тетя Настя в союзники.

— У вас, баб, ничего не поймешь,— задается Фрол Матвеевич.— Я про мужиков говорю. Вот ты, Лен, грамотнее нас с бабкой. Ты скажи, почему мы — пятнадцать аж дворов — остались без внуков? Правильно это?

— Фрол Матвеевич, так ведь скоро и деревушек таких — по пятнадцать дворов — не останется. Укрупнение идет.

Уже договаривая, я чувствую, что не то слово обронила, не к месту и не ко времени — тяжелое, больное для них, приросших к лысовскому оупку с лесами слева и справа. И Фрол Матвеевич, конечно, ерзком отодвигает стул и выдает свое короткое и коронное:

— Ишь ты! Кра-асный у нас разговор пошел, что и говорить. Укрупнить оно можно. Хотя от лесу далеко не уйдешь. Лес — он, что старики, ласку любит. А издаля ласки много не подаришь. Да и не об этом я. Вот ежели бы ты Ваню сюда не привезла, куда б его дели?

— На дачу, в лагерь. Куда же еще?

— Что ж, сюда, к дедам-то, нельзя? Пацаны ведь. Чего им весь год строим да стадом ходить? Мальцу тоже не вредно одному побыть, с лесом пошептаться, зверью поклониться.

Влетевший в избу Ванюшка прерывает разговор:

— Бабушка, я Шайтана покормлю.

— Покорми, покорми,— тетя Настя собирает

остатки еды с тарелок, разбавляет их водой, в которой варились вареники.

— Теть Лен, а у нас половицы приговаривают.

— Как это? — почти по-ванюшкиному удивляюсь я.

— А вот, — он, держа миску обеими руками, переступает несколько раз с половицы на половицу. Одна из них тонко и тягостно поскрипывает.

— Вань, ты там посмотри, чтоб самовар не ушел, — бабка влюбленно смотрит вслед внуку. — А ты, дед, не курил бы, нельзя тебе.

— Да я так, распространяю удовольствие, — иронизирует Фрол Матвеевич. — Не балуюсь, Лен, не-е. Я ж вижу, давно косишь глазом на мою папиросу. Пожить хочу. Глядишь, через год внук опять придет, а? — Меланин идет в разведку, чтобы заручиться моей поддержкой до приезда дочери. — Десять ден как не было, не заметили, как пролетели. Измолчались мы с бабкой, а тут Ваня. Ходит по пятам: как это да зачем это. Только поспевай отвечать.

Фрол Матвеевич волнуется и, видно, боясь, что от волнения глубже затянется дымом, закашляется, рывком гасит папиросу.

— Ну его, табак этот, согресишь. Давай, бабка, чай.

— Чтой-то молчит Ванька. Пойду гляну, — тетя Настя идет на крыльцо. Дверь в избу остается приоткрытой, чтобы удобнее было внести самовар.

— Ну как, накормил дружка?

— Ага. Вон облизывается.

— А самовар как? Не ушел еще?

— Стоит.

— Да ты ж его проворонил! Глянь-ка, он давно у тебя убежал!

— Да вот же он стоит!

— Ах, ты, господи! — Тетя Настя идет в избу, и от смеха самовар в ее руках подпрыгивает вверх-вниз. Чтобы не ошпариться, она ставит его скорей на пол, опускается тут же рядом на порожек и безудержно, до слез, до всхлипа хочот, проводя по мокрым ресницам то рукой, то полотенцем, которое свисает с плеч. Фрол Матвеевич беззвучно подхихикивает ей.

— Вот так. Вот так, Лен, все десять ден. Веришь ли, глаза от смеха не просыхают. — Старик откровенно, по-детски счастлив и стесняется этого: чиркнет по мне взглядом и скорей потушит глаза, чтобы не выглядеть несерьезным. Он наливает себе чай, забеливает молоком и пьет крупными редкими глотками. Поставив чашку на стол, отворачивается от нас к окну.

На мокрой лужайке Ваня с Шайтаном выделывают крутые путаные восьмерки. Отяжелевший после еды пес заметно охладил к играм. Он чаще садится и, высунув язык, не сводит с мальчика улычиво-просительных глаз.

Фрол Матвеевич неотрывно следит за внуком, щурит слабые, нечаянно погрустневшие глаза.

— И куда он уходит — этот самовар? — задумчиво говорит он. — Уходит да и только...

Дождь, который долго и лениво подкрадывался, вдруг ударяет тяжелыми каплями по стеклам. Небо опускается, будто хочет прилечь на крышу. Вдали, над молодой голенастой рощицей, пляшут молнии.

У дверей, по-щенячьи радостно повизгивая, стоит Ванюшка, успевший за минуту вымокнуть с головы до ног.

— Смотрите, ну смотрите, что он со мной сделал! — Мокрый, сияющий, глазастый, он переступает с ноги на ногу, собирая и объединяя взглядом наши улыбки.

Под ним тихо и тонко приговаривают половицы.

ЩЕ ВЕТ
ПОЛЬНИ

По Исфагану снуют пронзительные декабрьские ветры. Слякоть. Снег падает и тает, падает и тает. Черной жижицей полны выщербины старых тротуаров.

Жилье для советских специалистов не готово, и мы уже месяц томимся в отеле, снятом металлургической корпорацией. Мужчины на работе, дети в школе, и только женщины не у дел. Отлучаться из гостиницы, не зная ни языка, ни города, рискуют немногие. Кто-то спит, пользуясь вынужденным бездельем, кто-то читает уже не раз прочитанную книгу.

Для меня в отеле неожиданно нашлось хлопотное занятие. Молоденький администратор

Мустафа с помощью постояльцев изучает русский язык, и я по просьбе нашего переводчика становлюсь его очередным учителем. Почти ежедневно в одно и то же время я спускаюсь в гостиничный холл. Из-за стойки во весь белозубый рот улыбается Мустафа:

— Доб-рое ут-ро! Как де-ля?

— Доброе утро! Де-ла идут хорошо! — отвечаю я замедленно и четко.

— Де-ла и-дут хо-ро-шо! — старательно делит на слоги Мустафа. Я поправляю его, он повторяет снова и снова, следя за выражением моего лица. Стоит мне удовлетворенно улыбнуться, как он торопливо фиксирует найденный звук, произносит его по нескольку раз подряд и наконец по-детски звонко и коротко смеется и ставит точку:

— О'кэй! Поехали!

Он берется за учебник. Читаем мы «Родную речь» для второго класса, подаренную кем-то из наших. Других пособий нет, но уже складывается рукописный разговорник из тех упражнений и заданий, которые готовят для Мустафы его часто меняющиеся учителя. Из-за стойки он не выходит: постоянно звонит телефон, да и старший администратор может появиться в любой момент. Мустафа его побаивается, хотя тот вполне благосклонен к занятиям помощника.

С приходом шефа Мустафа на глазах взрослеет. Он становится сдержанным, вежливо благодарит за каждую похвалу и извиняется за малейшую ошибку. Уходят из черных глаз солнечные лучики, и передо мной уже не просто восемнадцатилетний юноша, а опытный, элегантный служащий приличного отеля.

Когда у его шефа, господина Мусави, начинается рабочий день, я не знаю. Он в холле появляется внезапно: выходит из узкого коридорчика, в конце которого находится его кабинет, и садится на низкий диван, обитый оранжевой ворсистой тканью. Над ним зеленым опахалом подрагивает пальмовая ветвь. Пальма растет в черном квадратном ящике за диваном и занимает весь угол. Макушкой она почти касается потолка. В стеклянную высокую дверь и широкие, во всю стену, окна видны двор и часть улицы. Тяжелыми складками от потолка донизу свисают двойные шторы, защищающие холл зимой от сквозняков, летом — от солнца.

Старший администратор по длинному журнальному столику пододвигает к себе пепельницу и закуривает. Он усердно смотрит на улицу, но слушает нас; когда хлопает дверь и что-то ускользает от его слуха, он досадливо морщится и стряхивает пепел с сигареты. Господин Мусави прекрасно владеет русским, причем на

удивление щедро пересыпает речь поговорками, присказками, байками. Мы молчаливо догадываемся, что и прошлое у него русское, и что он в этом отеле гораздо больше, чем просто старший администратор — отель уже не первый год служит перевалочным пунктом для специалистов из Союза.

Старик статен и величествен, даже волосы лишь слегка прихвачены сединой, хотя ему около семидесяти. О своем возрасте он говорит с удовольствием и с еще большим удовольствием смеется, когда мы не верим, что он так долго прожил на свете. Наши мужья поговаривают, что у него под белой сорочкой военный мундир. И, слушая, как Мустафа напряженно делит на слоги незнакомый текст, я невольно приглядываюсь к его шефу. Большой, широкогрудый, он сидит поразительно красиво, не уходит всем весом в кресло, как грузные люди, не сутулится, даже плечи не опущены.

— Мос-ква — сто-ли-ца Со-вет-ско-го... — старательно выговаривает Мустафа. Мне почему-то кажется, что мой ученик внутренне поживает от этих слов, вернее, оттого, что произносит их при шефе.

— Сделаем так, господин Мустафа, — прихожу я на помощь. — О Москве мы поговорим с вами в Москве. А сейчас побеседуем о вашей столице.

Мы выбираем нужные слова из текста, составляем диалог о Тегеране, и я большими, как у первоклассника, буквами записываю его Мустафе в толстую тетрадь-разговорник.

— Тамам? ¹

— Тамам! — соглашается он, захлопывая учебник.

И тут меня настигает ускользящий полувзгляд-полувопрос господина Мусави:

— Тамара-ханум, окажите честь — посидите со стариком полчаса.

Предложение неожиданно и совсем не в духе господина старшего администратора: еще не случалось, чтобы он удостоил вниманием женщину. Даже встречаясь с нами в холле и приветствуя, он смотрит поверх женских голов на оранжевые оконные шторы.

— С удовольствием, — отвечаю я, не скрывая удивления, и, пока собираю свои записи-листочки, пытаюсь разгадать, что же кроется за невинным приглашением. Мустафа растерянно приглядывает на меня. Он не уверен, что правильно понял слова шефа, и побаивается, что наши уроки могут послужить причиной неприятностей. У нас легкий негласный контакт, и он

¹ Тамам (перс.) — конец.

чутко угадывает, что я тоже чуточку оробела. Только моя робость другого оттенка: я, как и все мы, не умею общаться с людьми чужого мира, и постоянный самоконтроль сковывает мою речь, лишает гибкости и внутренней свободы. Вряд ли эта робость пройдет...

— Как вы считаете, у вас способный ученик? — спрашивает господин Мусави так серьезно, словно от моего признания зависит судьба Мустафы, а может, и его самого. Я укоризненно качаю головой и с вежливой уверенностью чужеземца отвечаю:

— Нехорошо, господин Мусави. У вас прекрасный помощник. А о его способностях вы знаете лучше меня — у вас отличное знание языка.

— То есть вы хотите сказать, что гость хозяину не судья, — снисходительно-иронично переводит он мою осторожность на понятные рельсы, искоса роняя на меня испытующе-беглый взгляд.

— Иначе вы не терпели бы меня рядом с собой, — улыбаюсь я. — В гости зовут с разбором, разве не так?

— Конечно, конечно, — насмешливо соглашается он. — На Востоке говорят: сердце — не скатерть, перед каждым не расстелешь. Не хотите, значит, правду сказать.

— А два «я» — одна драка. Тоже восточная мудрость, — в тон ему замечаю я.

Господин Мусави, изменив своей привычке скользить глазами по людям, смотрит прямо на меня. На бесцветных губах всегдашняя усмешка, но я чувствую, что этим афоризмом я что-то отвоевала для себя, еще непонятное мне самой, но очень необходимое. Старик похож на экзаменатора, который — наконец-то! — услышал от студента дельное слово. Напряжение отпускает ровно настолько, чтобы попытаться перейти на удобный для меня почтительный и полуслушливый тон:

— Ну подумайте сами, господин Мусави, какая женщина даст в обиду очаровательного юношу?

— Тем более семидесятилетнему старцу, — поддерживает он шутку.

— А ваши дети знают русский?

— Так... говорят примитивно, — он небрежно отмечает тему рукой. — Зачем? У них есть английский. У старшего еще немецкий. Он живет в Германии. Босс! Шишка!

— А внуков сколько?

— Одиннадцать. Еще столько, и я скажу: хватит, остановитесь!.. Ну, а знаете ли вы, Тамара-ханум, зачем я вас позвал? — почти доверчиво спрашивает господин Мусави, не меняя ни позы, ни тона, ни выражения лица. Сigaretой,

зажатой в двух пальцах, он показывает в окно. — Боюсь остаться наедине с вашей приятельницей. Очень опасно, когда ворона хочет стать птицей.

Нашей приятельницей старший администратор называет безобидную старушку-эмигрантку, которая раз-два в неделю приезжает в отель из другого конца Исфагана, чтобы посидеть с русскими женщинами. Зовем мы ее бабой Верой, как, видимо, повелось до нас. О себе она говорит однообразно-приподнято: «Ах, милочка, как я пела! «Мой голос для тебя и ласковый и томный...» Я была хорошей певицей. А на мои цыганские романсы сбегались все офицеры. А потом влюбилась. Сама! Представляете себе?! Попропащему, несказанно! Знаете, как это — «В жизни раз бывает только встреча»... Он был красавец...»

Мы, даже самые любопытные, никогда не спрашиваем, ни как дальше сложилась ее жизнь, ни когда она уехала из России. По нашим прикидкам, году в сорок втором — сорок третьем.

— Припрыгала! — господин Мусави с откровенным презрением смотрит, как баба Вера пересекает улицу.

— За что вы ее так не любите?

— А за что ее любить?

— Простите меня, но, как мне казалось, вы в некотором роде земляки.

И тут студент, который только что вызвал одобрение учителя, становится студентишкой, который огорчил его, ошеломил, огорошил, может, даже опорочил беспечностью и полной глухотой к наукам. Господин Мусави сводит брови и хватается за висок, словно ему и слушать-то стыдно, что я произношу. Но — что с меня, студента, взять? — он снисходительно начинает растолковывать:

— Нет, не земляки. Ни в коем разе! Во-первых, я из Азербайджана. А здесь азербайджанцев около пяти миллионов. Я среди своего народа. Во-вторых, меня привезли мальчишкой. Не я уехал — меня привезли. Я здесь вырос, здесь могилы моих родителей. В-третьих...

Баба Вера несмело заглядывает через стеклянную дверь в холл и только потом заходит. Она шустро сияет во все стороны:

— Доброе утро, господин Мусави! Салям алейкум, мистер Мустафа! Здравствуйте, милочка! Как же я по вас соскучилась! Позвольте мне погреться подле вас! Ах, старость, старость! Вам этого пока не понять. Сколько вам? Тридцать пять? Я в ваши годы царицей по жизни шла! Берут годы свое, берут... — Баба Вера снимает куртку, садится в кресло напротив, спускает с головы на плечи знакомому нам всем се-

рую русскую шаль, которая когда-то была пуховой. Как она сохранилась у нее до сих пор, одному богу известно.— Ах, милочка, прелесть вы моя, позвольте, я вас поцелую. От меня табаком пахнет, но это ничего, правда? Если бы вы знали, сколько радости вы мне доставили в прошлую субботу! Я так вам благодарна. Господин Мусави, а вы знаете, Тамара-ханум — искусствовед. Я так много услышала о России! Искусство — это моя страсть, мой мир, моя тоска. Ну расскажите же что-нибудь еще. Недавно я смотрела в советском клубе «Гранатовый браслет». Как хороша Ариадна Шенгелая! Ах, какая аристократка! Где она еще снималась? Впрочем, не говорите. Что толку из того? Вам не довелось посмотреть, господин Мусави?

— Женщины на экране не для меня. Я люблю их рядом, — выталкивает сквозь зубы старик Мусави.

— Ну что за пошлость! — хмурится баба Вера. Она возмущенно поднимает правое плечо, опускает его и снова щебечет: — Право же, она бесподобна! Звезда, звезда, конечно же, звезда! Вы не согласны со мной? Почему вы так минорно улыбаетесь?

— Что вы! Шенгелая прелестна, спору нет. Я сожалею о том, что вам не с кем ее сопоставить — вы же не видели ни других фильмов, ни других актеров. А мои симпатии не ограничиваются одним именем. У нас десятки непревзойденных артистов.

— Ах, оставьте, милочка! Все они играют доярок и стахановцев! На что там смотреть? — она снова с недоумением поднимает правое плечо. Я, опешив, не свожу глаз с блеклого лица с аккуратно подкрашенными губами. Господин Мусави, отвернувшись к окну, слушает мое растерянное молчание.

— А если бы Шенгелая играла доярку?

— Фи, милочка, как вы — с небес да на землю. Не знаю, не знаю.

— Значит, вы не о том говорите. Вас не Шенгелая очаровала, а Куприн: княжеский дом, богатый гардероб, крюшон, хрусталь, поклонение красоте...

— Ах, моя вы прелесть! — прерывает меня баба Вера с кокетством хорошенькой примадонны.— У меня этого в жизни было больше, чем достаточно! Я была счастлива! Помню, в Турции...— Она рассказывает сбивчиво, торопливо, словно боится, что ее не выслушают до конца и никто ничего не узнает о корзинах цветов у ног, о дуэте со знаменитым тенором, о всеобщей женской зависти и еще о многом другом, что она хранит, как фамильные драгоценности, которые хоть изредка, но надо надевать.

«Да ведь все это в прошлом, все в прошлом!» — хочу я крикнуть, поймав маленькую нечаянную паузу в речи. Я вижу под столом тулые носки ботинок, давно уставших ходить по земле. На спинке кресла висит ее куртка из плащевой ткани с залоснившимися рукавами. Но особо острую, неодолимую боль, жалость к ней вызывает серенькая шаль, какие издавна носили на Руси, да и сейчас еще носят. Пух на ней истерся, видна белесая истончившаяся основа, и кружевной рисунок по краям стал таким редким, что сквозь него проглядывает сиреневый цвет блузы. Но ожившееся лицо порозовело, и я на миг верю, что она моложе госпожи Мусави на девять лет, что была хороша собой: улыбка порхает по лицу и живет то в круглых подвижных бровях, то в прищуре серых глаз, то в уголках капризных подкрашенных губ.

Господин Мусави нетерпеливо — да будет ли конец этому? — водит пальцем по медному ободку пепельницы. Удивительно, как он, серьезный, занятой, старый человек, может сидеть и слушать нашу болтовню, он, всегда высокомерный с женщинами. Старик видит, как я украдкой поглядываю на часы, и зачем-то кивает Мустафе.

— Кстати, милочка, что вы сами думаете о Шенгелая? — перескакивает баба Вера снова на кинематограф.— Но умоляю вас, назовите, где она еще снималась?

— Татьяна Ларина в «Онегине», графиня в «Выстреле», тоже по Пушкину. Евгения Гранде...

— Какие вечные образы! Представляю, как она купалась в этих ролях. Она создана для них, создана блистать! Вы снова улыбаетесь. Чему?

— Видите ли, мне хочется любить актеров не только за красоту и молодость. Красота и молодость проходят.

— Ах, милочка, ну зачем же прописные истины! — На лбу моей собеседницы собираются недовольные складки. Она проводит по ним рукой, словно торопится разгладить их и по возможности даже стереть следы. Ей неприятен подтекст моих слов: человек богат тем, с чем приходит к старости, а не тем, что осталось в молодости, прекрасной, но такой короткой. А с чем пришла она? Ни дома, ни семьи, ни родины. Еще досаднее, что подтекст услышал и господин Мусави. У него есть все — работа, семья, внуки, страна, ставшая ему родиной. Не потому ли он так спокойно и с явным удовольствием говорит о своем возрасте? Не из желания ли подчеркнуть свое превосходство над ней, безоглядно промотавшей молодость и здоровье?

Баба Вера расстроена. Сейчас она укорит меня: безжалостно напоминать старикам, что они старики. Надо обогнуть угол, уйти от упреков.

— А почему вы не допускаете, что Шенгеляя может сыграть доярку?

— Это невозможно! — Старушка отмахивается от меня обеими руками и громко смеется. — Это же смешно! Она большая актриса! Она не должна опускаться до таких ролей!

Я не выдерживаю:

— Вы меня сегодня обидели уже дважды.

— Я, милочка?

— Моя мать была маляром. Отец — плотник. Его сестра — доярка. Я вожу по музеям рабочих. К стыду своему, не всегда могу ответить на все их вопросы. Что же вас тянет ко мне?

— Простите, бога ради! У меня и в мыслях не было! Я, наверно, не так выразилась, мы все-таки не из вашего мира. А может, вы не в духе нынче? Господин Мусави, вы не находите?

Нет, господин Мусави этого не находит. Зато находит, что смотреть на кончик сигареты интереснее, чем на взъерошенную старушку. Да, он из другого мира, но к слову «мы» не имеет никакого отношения. Упорным молчанием старик попросту смахивает бабу Веру с той ступеньки, на которой стоит и на которую пытается подняться и она. Как он сказал? И ворона хочет казаться птицей?

Из узенького коридорчика слуга несет пластмассовый поднос с двумя чашками и чайником. Случай небывалый — господин Мусави, презрев восточные законы, будет пить чай с постоялицей отеля. Он собственноручно разливает чай и протягивает мне чашку.

Пьет Иран и коку, и пепси, и соки. Но чай — это другое. Чаем не просто утоляют жажду — им греют душу, ищут пути к взаимопониманию, вызывают на доверие. Чай! Золотистый, без единой крупинки. Плывет седой парок над чашкой, уютно и дразняще. Далеко не друг тот, кто протянул мне эту чашку, далеко не обычна эта минута. Что за ней? А горячие бока чашки передают ладоням тепло, оно успокаивает, умиротворяет. Радуюсь уже тому, что в руках умно, по-настоящему заваренный чай, от которого я отвыкла за месяц гостиничной жизни.

— Чай хорош горячим. Пейте, не то остынет, — советует старик Мусави. Он сидит, величественно откинувшись на спинку дивана, и с восточным изяществом держит в крупной руке чашку.

И вдруг я понимаю, что третьей чашки нет и не будет. Затылок мой становится неподвижным. Я боюсь повернуть голову в сторону и, чтобы не

выдать дрожь в пальцах, опускаю чашку на стол.

— Что? Очень горячий?

— Да, очень, — бесцветно отвечаю я.

Баба Вера беспомощно вдавилась в угол кресла и, кутаясь, стянула себя так, что походит на большого спеленутого ребенка. Из серых глаз сочится тоска.

Вот для чего я нужна была сегодня господину старшему администратору! С моей помощью он провел маленькую удачную операцию.

Мустафа с состраданием смотрит из-за стойки — не на бабу Веру — на меня. Как длинна, как бесконечно длинна минута! Чем ее сократить? Вот она — жестокая мудрость восточной шутки: гость — ишак хозяина. Жалко-жалко подрагивает нижняя губа бабы Веры. Все ее шестьдесят лет, наверно, были короче этих шестидесяти секунд. А глаза... Я не знаю, какого они сейчас цвета. Цвета пыли? Пепла? Поляны? Да, поляны, осенней, сухой, побитой ветрами поляны.

Господин Мусави мелкими глотками пьет чай, намеренно растягивая тягостное молчание.

— А знаете, милочка, я столько лет живу на Востоке, а в чае так и не научилась разбираться, — дрожащим голосом произносит баба Вера, выходя из оцепенения. — В детстве я любила чай со смородиной. А здесь она не растет... Почему-то... Вы уж простите, если я... Право же, у меня и в мыслях не было... — Она торопливо прячет худые локти в рукава куртки, прощается почти весело, почти как ни в чем не бывало. Но куртку уже застегивает за дверью. Видно, как она стоит во дворе отеля, как расправляет шаль на груди и смотрит по сторонам, будто вспоминая, откуда пришла, как неловким шагом выходит за ворота.

— Ваш чай остыл, — усмехается старший администратор. Он свою чашку отставил в сторону и тянется за сигаретой. Курит он много. — Вам жалко ее?

Жалко? Не знаю. Может, и нет. Но достойно ли сильного человека вот так прибить и без того жалкое и смешное существо, забыв, что ей немало лет, что забегать сюда — ее последняя и единственная радость?

И он, и она когда-то ходили по моей, по русской земле. Даже меня это с ними хоть чуточку, хоть самую малость, да роднит. Почему же их — двоих — нет?

Я человек сторонний. Мне нельзя ни выйти следом за бабой Верой, ни быть излишне любопытной, ни возразить господину Мустафе, даже если он поднимет руку на бедную женщину. Не имею права. «А ведь она не оправится от уда-

ра», — думаю я. Но улыбаюсь через силу и говорю другое:

— Больше она сюда, конечно, не придет.

— Не велика потеря.

— Для вас. А для нее?

— Вижу — жалеете. А зря. Таких хоронят с праздничной музыкой.

— Что это значит?

— Так у нас говорят о женщинах, которые весело жили. Уж коли уходить за кордон, то с деньгами, но не с любовником. Разве не так? — старший администратор глуховатым баском смеется. Крепкие, должно быть, абсолютно здоровые зубы нахально и влажно поблескивают и вдруг словно прикусывают улыбку. — А если подвержена ностальгии, сидела бы дома и пила чай со смородиной. Живет и все оглядывается.

Жестко постукивают сухие белые пальцы по столу. За оранжевыми портьерами виден кусок холодной декабрьской улицы, куда ушла баба Вера. Ушла и не оглянулась, чтобы помахать привычно рукой из-за массивной стеклянной двери. А он сказал — живет и оглядывается. Живет и... Так ведь именно этого он не может ей простить! Не на свое прошлое она оглядывается — на страну, где оба родились. Она тянется к русским, усиленно связывая крупинки того, что сохранила память, с тем, что слышит от нас под неизменно пристальным взглядом бывшего соотечественника. В его власти унижить ее.

Бедная баба Вера! Она и не догадывается, что оказалась сильнее. Мне хочется улыбнуться, и я улыбаюсь. Золотисто переливается в чашке чай. Я не хочу его пить — он холодный...



Владимир РУСАНОВ

Парторг Ожгибесов

В Осинском районном музее в Пермской области собран материал о знатном земляке Иване Николаевиче Ожгибесове — коммунисте 30-х годов. Современник Павки Корчагина, он повторил его героическую судьбу.

...Жил Иван в прикамской деревеньке Боголюбы. Был веселым парнем, одно слово — деревенский гармонист. А уж обувь шил для сельчан — сносу нет... И случилась беда. Всего 22 года было парню, когда у него отняли ногу — гангрена.

Но не таков был характер у Ивана, чтоб замкнуться в своем несчастье, уйти от людей. Он постоянно с ними. Ноги нет, но ведь руки-то остались. И по вечерам гармонь его снова веселила молодежь. Когда в деревне создавали комсомольскую ячейку, он первым записался в комсомол, а позднее — в партию.

Иван Ожгибесов стал агитатором за новую жизнь. Работал избачом, кооператором, счетоводом. Ставил спектакли, писал в районную газету заметки и даже сам сочинял стихи, а на праздничных вечерах снова брал в руки гармонь.

Но гангрена продолжает неутомимо его четвертовать. Ему отняли вторую ногу. Но он снова находит в себе силы жить, и не просто жить, а оставаться неутомимым организатором.

Был 1929 год. Когда в Боголюбах организовали колхоз, Ивана Ожгибесова избрали парторгом. Целыми днями пропадал он в поле. Для всех у него находилось нужное слово. Рассказывал о жизни страны и в мире, в минуты отдыха поднимал настроение своей гармонью. Колхозники на руках носили своего любимого парторга.

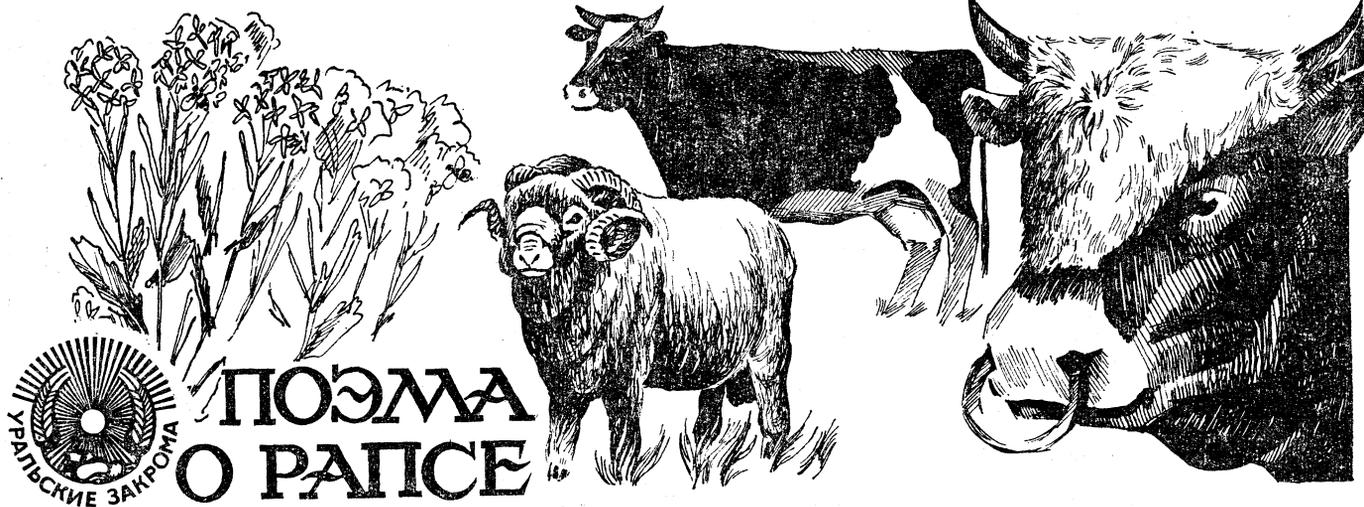
Однако гармонь пришлось оставить. Отняли руку. Но и после этого Иван Николаевич продолжал работать. Их колхоз «Красные горки» был передовым в районе. Работать плохо рядом с этим человеком было просто невозможно. Люди заряжались его энергией, крепили духом.

В 1935 году в газете «Уральский рабочий» об И. Н. Ожгибесове была напечатана статья «Большевик».

«...Так меня громко — большевиком еще никто не называл, — писал после Иван Николаевич. — Болель не сломит мою волю, я все остатки сил отдаю партии. Я буду работать до последнего вздоха». Он не считал себя героем.

Но все чаще приходилось ложиться в больницу. Семнадцать операций перенес. И здесь Иван Николаевич не терял даром время, много читал и вперыве — «Как закалялась сталь», вел дневник.

Он получал много писем отовсюду. Писали совсем незнакомые люди: «Мужайся, товарищ Ожгибесов. Знай, что ты передовой человек нашей Родины».



Леонид БОГОЯВЛЕНСКИЙ

Рисунок Сергея Малышева

На поиски рапса я отправился вместе с моим давним знакомым сарапульским журналистом Сергеем Шайдулиным. Наш синий «Москвич» с надписью по бортам «Корреспондентская», ловко огибая рытвины и плавно приседая на ухабах, торопился в совхоз «Кигбаевский». Остались повади крайние дома Сарапула, мелькнули у обочины колонки автозаправочной станции, и перед нами широко развернулась панорама всхолмленной равнины в красках августа.

По глубоким лощинам, которые здесь называют логами, и по гребням холмов синели узкие полоски пихт и елей. На склонах и равнинах зеленели озими, золотились зреющие хлеба, чернела, отливая фиолетовым, язб. И над всем этим разноцветьем земли вздымался высоко лазурный купол небосвода. Белые кораблики облаков плыли по синеве воздушного океана.

Сарапульское, или Среднее, Прикамье — тот самый промежуточный рубеж на пути из Центральной Руси к Уралу, тот плацдарм, с которого в XVI и XVII веках и продвинулись на Камennyй Пояс хлебные злаки — рожь, полба, овес, пшеница, ячмень. И первые русские переселенцы, освобождая место под пашню, валили лес здесь рокогухою.

Плодородные земли — хлебная житница Предуралья. Отсюда в трудное лето 1919 года сарапульские крестьяне отправили в Москву, Ленину, эшелон дарственного хлеба для голодающих рабочих столицы. И маленький паровозик «Овечка», который тянул те вагоны с хлебом, стоит теперь на привокзальной пло-

щади как памятник революционно-му подвигу трудового народа.

Так не отсюда ли, с этого среднекамского плацдарма, перебрались на Урал и рапс с сурепицей? Я и приехал сюда, чтобы найти ответ на этот вопрос.

— Вон там, на пригорке, возле Юшково, он и прячется за лесом!

Сергей кивнул влево, в сторону холмистой гряды на горизонте, за которой параллельно нашей дороге текла к югу Кама.

Но в «Кигбаевском» нас ожидало разочарование: совхоз рапс не возделывал.

— Еще пять лет назад съела его весь без остатка крестоцветная блошка и напрочь отбила охоту им заниматься, — довольно скучно, без каких-либо эмоций повела нам девушка-агроном. Чей рапс у Юшково, ей неизвестно. И тогда мы завернули в совхоз-техникум, благо он на той же дороге. Сергей посоветовал встретиться с Ковайкиной.

Он рассказал, что когда от рапса все отвернулись, «Красное Прикамье» напечатало в его защиту статью преподавателя техникума, агронома-полевода Тамары Тимофеевны Ковайкиной. Это была небольшая, сугубо агротехническая заметка, но от каждой строки ее веяло такой чисто женской душевной теплотой и болью, словно то была маленькая поэма о любимом...

На этот раз нам повезло: Ковайкину мы застали на месте. В темно-зеленой рабочей штормовке, с обветренным, как у всех полевых, лицом, она показала мне сначала строгой и даже суховатой. Но стоило нам завести разговор

о рапсе, как суровости словно и не бывало, и тихая, радостная улыбка засветилась на ее лице. Ковайкина принадлежит к той удивительной породе людей, которые не ищут романтику за тридевять земель, ибо они сами ею переполнены, а скучную прозу нашего повседневного бытия превращают в возвышенную романтическую поэзию. Возле таких людей и дело бурлит, и жить интереснее.

И вот мы узнали, что рапс у Юшково посеял совхоз-техникум. Но возделывает он его всего-то пять лет. С тех пор, когда сеяли его и в «Кигбаевском». А семена завезли в Удмуртию из Курганской области в 1981 году. До революции же и в первые десятилетия Советской власти в прикамских селах о рапсе и не слыхивали.

Мои предположения оказались ошибочными, гипотеза не подтвердилась: из Прикамья рапс не мог придти на Урал, коли его тут не было. Но откуда же?

Здесь мы прервем наше повествование о загадочном рапсе и сделаем небольшое отступление.

Каждый знает: чтобы вырос дом, нужен кирпич или, скажем, бетонные панели. То есть строительный материал. Нет кирпича или мало его — не построишь. А вот для живых тканей и мышц организма животного — животное ведь тоже растет — строительным материалом служит белок. Молекулы белка и есть те «кирпичики» живой клетки.

Последние годы дела в нашем животноводстве сложились так, что на фермах коровам и овечкам этих самых «кирпичиков» в кормах до-

стается очень и очень мало. Потому-то они и дают нам совсем мало мяса, молока, шерсти. А рапс — это кормовая трава, настоящая кладовая, да что там кладовая — огромный склад дефицитных белковых «кирпичиков». Это «золотой ключик» к большим успехам в животноводстве. В его сочной зелени содержится белков в два раза больше, чем в зеленой массе знаменитой кукурузы. К тому же рапсовые белки питательнее белков всех прочих кормовых растений. Вот он какой, рапс! Мы еще расскажем о его других многочисленных замечательных достоинствах, но прежде нарисуем ботанический портрет этого растения.

Каждый, кто бывал в поле, замечал возле посевов, у обочин дорог, на пустошах и залежах довольно приметную ветвистую травку с мелкими, желтыми, четырехлепестковыми цветочками, собранными в небольшие соцветия. К осени цветки превращаются в тоненькие стручки, наполненные мелкими, как маковые зернышки, семенами. Это сурепка, довольно вредный сорняк. Сурепка, которая возделывается на полях, другими словами, культурная, называется сурепицей. Так вот, рапс — родной брат сурепицы. Лучше сказать, близнец. И в сельскохозяйственной практике, в обиходе, рапс и сурепицу объединяют одним термином «рапс». И в «Кипчаевском», и в совхозе-техникуме сеяли сурепицу канадского сорта Кендл. А в разговорах, даже деловых, она — рапс.

Сурепица и рапс относятся к ботаническому семейству капустных, которое до недавнего времени именовалось семейством крестоцветных. В это обширное семейство входят всем известная кочанная, листовая и цветная капуста, репа, редька, редис, брюква, турнепс, горчица, хрен, а из диких растений сурепка, пастушья сумка, клоповник-веничник.

Лировидные, зеленовато-сизые листья рапса цветом и сочностью напоминают наружные листья капустного кочана. Они покрыты легким восковым налетом, отчего дождевая вода и роса сбегает по растению в землю, к корням. Так растение поит само себя водой, увлажняет почву. Рапс — однолетник, высотой до метра, бывает и до полутора метров. В диком виде же встречается. А в сельском хозяйстве возделывается, подобно пшенице, как яровая и озимая культура.

Учхоз «Уралец» Свердловского сельскохозяйственного института сеет яровой рапс на зерно, а ози-

мый на зеленый корм как промежуточную, или, другими словами, поукосную культуру, получая за лето три урожая зеленой массы. Уже тридцать лет директорствует здесь Михаил Васильевич Суднев, мудрый руководитель, заслуженный полевод России. Был он в Чехословакии. Рассказывал так:

— Едешь по дороге, и справа и слева поля желтеют. Залюбуешься. Это все рапс...

Большие площади заняты под рапсом в Польше, ГДР, ФРГ, Франции, США, Канаде, Китае. Ведь рапс еще и масляничная культура. Почти сто процентов потребности населения Соединенных Штатов в растительном, или, как у нас говорят, постном, масле удовлетворяются за счет рапсового масла. По своим питательным свойствам и по вкусу оно близко к оливковому. И в США, и в Канаде до пятидесяти процентов вырабатываемого рапсового масла идет на производство маргарина. Кроме того, рапсовое масло применяют в кондитерском деле, в консервной промышленности, в мыловарении, в текстильном и лакокрасочном производстве как техническое для закалики стали, для выделки нейлона, для предотвращения прилипания ракушек и моллюсков к днищам судов.

А еще рапс прекрасный медонос. С одного гектара цветущего рапса пчелы собирают до ста килограммов меда. В земледелии рапс хороший рыхлитель плотных почв, фитосанитар земли, средство от выплывания и эрозии почвы и еще он сидерат, то есть зеленый удобритель, обогащающий землю органикой. Мальчишки, которые содержат в клетках певчих птиц, знают рапс как хороший птичий корм. Нет другого столь полезного, как рапс, растения.

Древний человек эпохи неолита вырастил культурный рапс почти одновременно с кочанной капустой, репой, морковью, луком, бобами, укропом около четвертого тысячелетия до нашей эры. Одни следователи называют родиной культурного рапса Китай, другие полагают, что возник он в странах Средиземноморья и отсюда ушел в Азию. Древнегреческие и древнеримские писатели упоминали о рапсе еще до нашей эры.

Само слово «рапс» происходит от латинского слова «рапа», что означает репа или еще клубень. По-гречески «рапанус» — это редька или редиска. Ботаническое название рапса «брассика» переводится как капуста.

В XIV—XVII веках нашей эры

рапс широко возделывался в Центральной Европе. В XVII веке его выращивали в Голландии, откуда, вероятно, он и попал в Россию вместе с картофелем, кукурузой и горчицей в начале XVIII века. Известно, что в 1836 году на маслобойнях Украины выделяли в достаточном количестве сурепное масло. Спрос на него возрос к середине века в связи с бурным развитием промышленности. Если в начале XIX века рапсом было занято около 80 тысяч гектаров, то к девятидесятым годам уже 300 тысяч гектаров.

Но крестьяне рапс не оценили. Случилось то же, что с картофелем. В клетчатке рапса есть вредная эрукловая кислота. При неумелом скормлении животные отравлялись. Не умели крестьяне оберегать рапс и от прожорливых насекомых. Позже были выведены безруковые сорта сурепицы и рапса.

К восьмидесятым годам в Советском Союзе под рапсом было занято всего 100 тысяч гектаров, а в Канаде — четыре миллиона.

На XXVII съезде КПСС поставлена задача ликвидировать дефицит белка в кормах путем всемерного распространения посевов рапса. И в 1986 году его посеяли уже на двух миллионах гектаров. На Среднем Урале на тридцати тысячах. Через пять лет рапса здесь будет девяносто тысяч гектаров.

В годы войны рапс привезли на Урал в научной коллекции эвакуированного Всесоюзного института растениеводства. Отсюда он попал на опытные сельскохозяйственные станции и в школы юннатов. Лидия Александровна Семкина, заместитель директора Ботанического сада Уральского научного центра, помнит, как в послевоенные годы учитель биологии Верхнепышминской средней школы № 2 А. С. Тыжнов создал пришкольный сельскохозяйственный участок в три гектара. Работали все ученики от четвертого до восьмого класса, выращивая плоды, овощи, злаки. Сеяли школьники и рапс.

С 1970 года рапс выращивают в Омской области. В 1980 году в Курганской области собрали богатый урожай рапса с пяти тысяч гектаров. Отсюда-то и послали семена в Удмуртию на Каму. В эти же годы интенсивную технологию выращивания озимого рапса разработал в УралНИИСХОЗе Валерий Тимофеевич Ким, выпускник Свердловского сельскохозяйственного института.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ГОДА

Валерий МИРОНОВ

Рисунок Ольги Горячевой



МАРТ

В календаре древних римлян за начало года был принят месяц, на который приходился день весеннего равноденствия. Он назывался «примидилисом» — по своему порядковому номеру. В начале VII века до нашей эры была проведена реформа этого календаря, по которой первый месяц года и весны был назван «мартнусом», в честь мифического бога войны Марса, который был призван также защищать мирный труд, а первоначально почитался как бог земледелия и скотоводства.

В Норвегии месяц так и называется — «марс». А в других странах и в союзных республиках СССР март носит созвучные этому имена: «мартс» — в Латвии, «мартц» — в Эстонии, «март» — в Болгарии, «мариуш» — в Венгрии, «марти» — в Румынии, «марч» — в Индии (на урду), «марзо» — в Испании, «марцо» — в Италии, «марсо» — в Португалии, «мар» — во Франции.

Другие народы величают этот месяц по-своему: казахи — «наурыз», немцы и евреи — «мерц», поляки — «маец», сербы — «ожуйак», словаки — «бржзень», чехи — «бженень» и «бржзень», китайцы — «третья луна», финны — «малискуу», японцы — «сангацу», то есть третий месяц года. В Японии каждый месяц имеет также специальное смысловое название, март — это «месяц произрастания трав».

В период Великой французской революции и в дни Парижской коммуны март был переименован в «жержиналь» — месяц прорастания.

По китайскому сезонному календарю двухнедельный период с 19—20 февраля называется сезоном «дождевой воды», а с 4—5 марта — сезоном «пробуждения насекомых».

Древнеславянское имя первого месяца весны — «схух(и)й». У хорватов до сих пор сохранилось за этим месяцем сходное имя — «сушец».

Современное наименование первого весеннего месяца года пришло на Русь из Византии. До этого в Древней Руси величали его так: «березень» (в наше время так называют его на Украине), «соковик» (до сих пор в Белоруссии называют его созвучным именем — «сакавик»), «капельник», «протальник», «весновой», «разнопогодник»...

Согласно так называемому календарю «счастливых камней», весне соответствует изумруд, а марту — аквамарин, гелиотроп и яшма. «Посмотришь утром на изумруд — за день не сделаешь ничего плохого», — говорят в народе.

По календарю цветов марту соответствуют нарцисс и жонкиль.

Согласно «небесному календарю», составленному еще древними греками, до 12 марта солнце будет находиться в созвездии Водолея, а потом — в созвездии Рыбы.

Март богат народными обычаями, традициями, обрядами.

В марте на Руси устраивали проводы зимы и встречу весны с угощением родни. В Сибири, а также в ряде центральных российских губерний на этих празднествах строили снежные крепости (городки) с башнями и амбраурами — царство Зимы. Встречающие весну делились на две группы. Одна защищала крепость палками, метлами, снежками, а другая шла на штурм.

К празднику выпекали из теста обрядовое печенье, различных птичек-жаворонков, галок, скворцов, куликов, чувикулов (воробьев).

ПРИМЕТЫ, ПОГОВОРКИ, ПРИСЛОВЬЯ

Март — наследник февраля.
Март — позимье, сшибает роз зиме.

Март — не весна, а предвесенье.
Март капризен: то плачет, то смеется.

Март у зимы учится трезвону.
Март горазд куролесить.
В марте и спереди, и сзади зима.
Иногда и март морозом хвалится.

Февраль силен метелью, а март — капелью.

Февраль зиму выдувает, а март ломает.

Случается такой год, что в нем семь погод.

Как зима ни злится, а весне покорится.

Ранняя весна — признак того, что летом будет много непогожих дней.

Гром ранней весной — перед холодом.

Ранняя весна затягивается: то потеплеет, то мороз нагрянет.

Нет того подрядчика, чтобы к сроку весну выставлял.

На чужой земле и весна черна, на своей земле и зима зелена.

Начавшееся ослабление морозов — к оттепели.

Солнце на закате и склон неба красный — перед ветром.

Если направление движения высоких облаков (перистых, барашков) не совпадает с направлением ветра внизу, а значительно отклоняется от него вправо, то надо ждать ухудшения погоды (усиления ветра, уплотнения облаков, осадков).

Когда гудят провода — к непогоде.

Ни одного облака на сиверу нет, так и жди, что мороз.

Если облачно и умеренный ветер — заморозка не будет.

Усиление ветра к концу дня или ночью с одновременным увеличением облачности — к перемене погоды в худшую сторону.

Ненастная погода окончится, если давление повышается.

Не плачь, розь, что продал за грош: весна придет — вдвое заплачу, а назад ворочу.

Когда весной поверхность снега шершавая — к урожаю, гладкая — к неурожаю.

Едва вспыхнут разноцветной радугой подснежники — настало время высеять в помещениях на рассаду овощи и цветы.

Дерево лучше сажать весной.
Посадишь весной оглоблю — вырастет тарантас.

Без вербы — не весна.

Если у сосулек нет в середине пустоты, то налиж хлебов полный и умолот богатый.

Тетерев токует ранней весной — холода продержатся долго.

Если встретишь весной белого зайца, то снег обязательно еще выпадет.

Если сурок, стоя столбиком, не отбросит четко очерченной тени, то весна на пороге.

Лыжня наперед растает — к доброму году.

На льду реки, озера появилась вода, скоро наступит тепло.

1 марта — первый день весны. Весна днем красна.

Миловидница весна поднялася ото сна.

Вздел Ярило зиму на вилы. Ранней весной сверху печет, а снизу студит, льдом костенит.

Ранняя весна ничего не стоит. Календарным теплом не согреешься.

Если с первых дней весна разгульна, не застенчива — обманет, верить нечего.

Дружная весна — жди большой воды.

Сегодня не тает, а завтра — кто знает?..

5 марта — снег весной тает впервой.

Ранняя весна — не жди добра. Рано затает — долго не растает.

Раненько март веснянку затягивает — ненадежное тепло.

Весна-красава несговорчивого нрава.

Первый ручеек весне сын родной, а зиме — пасынок.

Вороны купаются ранней весной — к теплу.

6 марта — весновой тепло веет, стариков греет.

Дует с юга вешний ветер перемен.

Ветер снег съедает. Ранняя весна — много воды.

Если первый гром грянет при северном ветре — к холодной весне, при восточном — к сухой и теплой, при южном — к теплой.

С 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов.

9 марта — птичье потенье, гнезд обретенье.

К морозу легко катиться возу. Коли день по снегу, то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому.

На речках клев — большой улов. Если ранней весной, сверкнет молния, а грома не будет слышно, лето будет сухое.

Рога луны яркие и крутые — к морозу.

10 марта — вешняя дрема, сон валит слабых со всех сторон.

Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаза с поволокой заводит в потолки.

12 марта. Март-перезимник дороге рушит, увяз в сугробе.

У воды нос остер — пробивается всюду.

Белая дорога скоротечна, а черная — вечна.

Если весной снег сойдет до солнечного тепла, пшеница будет хороша.

13 марта — капельник. Длинные капельники (сосульки) — долгий лен.

Новичок (народившийся месяц) умылся — и нас дождем обмоет.

Если дождь, быть лету добром.

В теплые дни рыба (особенно окунь) поднимается в верхние слои, ходит под самым льдом.

Весну ждут, так смотрят, как тают круги вокруг дерева: как круты края у круга, так крута весна будет, а как пологи круги — так будет она протяжлива.

Если грач прилетел до 14 марта — быть лету мокрому, а снег рано сойдет.

Ранний прилет грачей и жаворонков — к теплой весне.

Утки и грачи прилетели рано — жди тепла, долго их нет — будет еще холода.

14 марта — плющица, снег плющит настом.

С плющицы первые оттепели. День встречи весны-красны.

Пролетье — первая встреча весны.

Летоуказатель. Каков день, таково и лето.

День красный (ясный) — и весна красна, на огурцы и грузди урожай.

Перезимний месяц март февралю-бокорею меньшей брат, а плющице — крестник.

Коли курочка воды напьется, то и овечка 6 мая травы наестся, — весна теплой будет.

Мокро и ветренно — к ненастному лету, высокой траве, комарам. Снег с дождем и теплый ветер — к мокрому году.

Если погоже, все лето пригоже. Тепло светит солнышко, да поглядывает: либо снег, либо дождь.

Снег валит — к плодородию. Будет снег — будут и грибы.

Снег метелями круглится. Март благоволит, да и насорит, запуржит.

Раз уже сурок проснулся и просвистел, то, значит, и весна пришла.

Отколе ветер, оттоле и во все лето.

15 марта. Ветронос везде сует свой нос, задирает курам хвост.



Если будет занос (ветер, снег, метель), все сено снесет (сметет), плохое сено будет, долго свежей травы не будет.

Март-мартушка еще завернет метельную вертушку.

Какова середина марта, таково и лето: подул теплый ветер — будет лето теплое и мокрое, если же снег, мороз и ветер с севера — лето будет холодное, а если пойдет дождь — все лето дождливое.

17 марта — март-грачевник грачей признал.

Налетели грачи, стали зиму толчи, пить снегов молоко.

Грач зиму расклевал.

Увидел грача — весну встречай.

Если грач на горе, то и весна на дворе.

Коли грач прилетел, через месяц снег сойдет.

Если грачи летят прямо на свои старые гнезда, то весна будет дружной, полая вода сбегит вся разом.

Прилетели грачи и дружно взялись за ремонт своих гнезд, через день-два будет теплая, хорошая погода.

Если грачи прилетели рано, но за ремонт гнезд не берутся, а только летают над ними и на непродолжительное время садятся на них или возле них и снова взлетают — холод еще протянется несколько дней.

Если грачи сели в гнезда, то через три недели можно выходить на посева.

Грачи стаями с криком выются над гнездами, то сядут, то опять взволнуются — погода переменчивая.

Грачи играют, хорошая погода будет.

Когда грачи кричат, погода испортится, чаще — к дождю.

18 марта — огородник, появление проталин.

Если ведро, то лето выкраснеет без градобитий.

Трясогузка возвратилась раньше обычного — к теплой весне.

20 марта — с крыши капает, а за нос цапает.

Пришел март-марток — надевай двое (семеро) порток.

Пасмурная холодная погода к ночи — будет заморозок.

Мартовский мороз с дуплом (не настоящий).

21 марта — весеннее равноденствие, астрономический день рождения весны.

22 марта — вторая встреча весны. Зима кончается — весне почин.

Зима надоела — весь хлеб поела. Весна на ярой кобыле едет: то снег, то дождь.

Прохладная весна — к дождям.

Если весной, когда сходит снег, место дороги остается бугром, бу-

дет хороший год, а если сперва дорожа растает — год будет тяжелый.

Тает снег и дружное полове — жди хороших трав.

Сороки (сорок сороков). Сорок птиц прилетают, сорок пичуг на Русь пробирются.

Сороки теплые — сорок дней будут теплыми, холодные сороки — жди сорок холодных утренников.

Прилетел кулик из заморья — принес весну из неволя.

Жаворонок является к теплу (к траве), зяблик — к стуже, к морозу.

Журавль прилетит на наст — к неурожаю.

Ранний прилет журавлей — к ранней весне.

Журавли летят низко, быстро, молчком — жди скорого ненастья.

Синка (трясогузка) прилетит, так через 12 дней река пойдет.

Весенний лед толст, да прост. Весенний ледок, что чужой избы порог (ненадежен).

Ранние ласточки — к счастливому году.

Синица запела — тепло ворожит.

Чайка прилетела — скоро лед пойдет.

Чаицы (чайки) вылетели — река пошла, а поздно залетают чаицы — к северу, к стуже.

Грач — на проталину, скворец — на прогалину.

Увидел скворца — знай: весна у крыльца.

Если скворец прилетает пестрый — гречиха будет хороша.

Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам.

23 марта. Холодный ветер в спину — не выжить зиму.

Снег тает наполночь (с северной стороны) от муравьиных куч — лето будет теплое и долгое, а коли наполдень (с южной стороны) — жди короткое и холодное лето.

Туман гсдеает снег.

День туманом мглист, будет лен волокнист.

26 марта — тропинки чернеют, снег тревожится.

Вешний путь — не дорога.

Когда весна красными днями снег сгоняет — родится хлеб.

На исходе марта щука хвостом лед разбивает.

По последнему льду хорошо клюют плотва, окунь, язь и другая рыба.

29 марта — вешний день, что ласковое слово.

Сверху печет — снизу течет.

Солнца хоть и нет, а вода все одно бежит.

Если тепло, то и весна будет теплой.

Снег скоро тает, и вода бежит дружно — жди мокрога лета.

При поздней весне опасных заморозков мало бывает.

Гуси летят высоко — жди снега.

Если лебедь раньше гусей прилетает — к недоброму году.

Как только лецина украсится сережками, земля больше не будет промерзать — можно сеять редис и мак, ноготки и васильки.

Сани покни, телегу подвинь.

Устраивали проводы зимы с угощениями жениной родни.

Март зиму кончает, весну починает (начинает).

Март у злой зимицы корону сшибает с косицы.

Март у матери-зимы шубу купил, да через три дня ее продал.

Март пройдет — горе пройдет.

Март сухой да мокрый май — будут каша и каравай.

Мартовский снег стоит половины удобренный.

Длинные сосульки в марте — весна будет затяжная, холодная, а если сосульки короткие — весна будет коротка и дружна.

Если в марте вода не течет, в апреле трава не растет.

Сухой март, теплый апрель, дождливый май — будет хороший урожай.

Август марта теплее.

Щедра весна на тепло, да скупа на время.

Кто спит весной, тот плачет зимою.

На весну надейся, а дрова запасай.

Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде.

Солнце в облака садится, а черно — так к дождю.

На проталинах, на кручах, склонах, железнодорожных откосах зацвела мать-и-мачеха — наступит тепло.

Если соломинка, лежавшая на поверхности снега, провалилась, через месяц весь снег сойдет.

Если весной висят длинные и толстые сосульки и их много — к урожаю яровых.

Если весной среди подснежников (прострела) больше темных цветков, чем светлых — к урожаю.

Весной снег растаял, плесень под снегом остается. Если много плесени — много и грибов будет.

Ворона купается — к ненастью.

Если дятел торчит в марте, то поздней будет весна.

Грачи выются высоко стаями и опускаются стрелой на землю — будет дождь.

ТУНДРА В ЦЕНТРЕ АЗИИ



В тени Эдисона

Юго-Восточный Алтай... На высоте более двух тысяч метров находится несколько озер ледникового происхождения. Природа этой части Чулушманского плоскогорья совершенно необычна. Здесь тундры Северо-Восточной Сибири смыкаются со степными и полустепными сообществами Центральной Азии.

В отличие от гор Средней Азии и Кавказа процессы горообразования здесь начались позднее и осуществлялись в виде медленного сводного поднятия. Это-то и создало условия для постепенного развития видов животных и растений.

В зоне озера Джулукуль, на участках в один квадратный метр, можно увидеть своеобразную мозаику экологических систем. Лишайниковые тундры, типичные, скорее, для Таймыра, соседствуют с ковыльными степями... Удивительные растения полупустынь «перекаги-поле» цепляются за заросли карликовой березки... Такие же биогеографические контрасты и в животном мире. В районе Джулукуль бывает один из интереснейших птичьих базаров — единственный в горах юга Сибири. Есть представители маньчжурской, средиземноморской, арктической фауны. По соседству живут баклан и индийский гусь, тундровая куропатка и черный аист, северный олень и барс.

Благодаря режиму заповедника и малодоступности его, удалось сохранить этот уникальный район, имеющий огромное значение для научных исследований.

А. МОРОЗОВ

Имя Эдисван появилось в английских газетах в 1882 году, когда благодаря постройке электростанции общественного пользования в Лондоне впервые вспыхнули тысячи электрических лампочек. Газовые компании, которые до этого безраздельно господствовали в Англии, стали терпеть крах. Фирма «Эдисван электрик» набирала силу.

Кто же скрывался под именем Эдисван? Два человека: Томас Альва Эдисон (1847—1931) и Джозеф Вильсон Сван (1828—1914) — совладельцы «Эдисван электрик компании», созданной для промышленной эксплуатации принадлежавших им патентов.

Эдисон обратился к проблеме электрического освещения в быту в 1878 году. Он разработал план центральной электростанции, схему радиальных линий к домам и фабрикам, определил с чисто американской практичностью стоимость материала и работы.

Имя Джозефа Свана сейчас практически забыто, хотя сто лет назад он был известен не менее Эдисона. Родился он в Бирмингеме, закончил Оксфордский университет. С 1860 года стал заниматься лампами накаливания и 18 декабря 1878 года на заседании Химического общества в Нью-Кастле продемонстрировал первую в Англии лампу накаливания с угольным стержнем. Отметим, что приоритет в изобретении лампы накаливания принадлежит нашему соотечественнику А. Н. Лодыгину (1872 г.). Сван не запатентовал свою лампу, считая ее основные элементы общеизвестными.

Эдисон, узнав о том, что Сван демонстрировал лампу, воспользовался ситуацией. Играя на чувствах американского патриотизма, он сумел 27 января 1880 года получить патент на лампу накаливания с угольной нитью. А через некоторое время ему выдали соответствующий патент и в Англии.

В это время Сван также запатентовал несколько новых ламп, создав тем самым Эдисону большие трудности в деле промышленной эксплуатации новинки в Англии, Франции и Германии. Эдисон был вынужден пойти на соглашение со Сваном. Так и была создана фирма «Эдисван электрик».

Сван был выдающимся изобретателем. Первым в мире он получил ацетатное волокно (1854 г.), хромовую кожу (1856 г.), заменил в щелочных аккумуляторах плоские свинцовые электроды на свинцовые решетки. Ему принадлежит приоритет в разработке метода получения прозрачной пленки из нитроклетчатки, бромовой фотобумаги. В 1874 году первым разработал способ гидролиза клетчатки, что позволило получать тонкие угольные нити и стержни для ламп накаливания.

Скончался Сван в полном одиночестве, почти забытый. Имя Томаса Альва Эдисона продолжает символизировать недостижимую изобретательность. Имя же не менее талантливого и продуктивного Свана мало кому известно.

Л. ДАНИЛОВ

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ—КЛОУН МАКС: "...ВСЁ ЭТО И ЕСТЬ ЦИРК!"

Дорогая редакция! Я сказал маме, что хочу быть клоуном. Она сказала, что это несерьезная профессия и вообще вряд ли считается профессией. Но я не согласен, что это несерьезно. Работать в цирке, тем более клоуном — значит, приносить радость людям, детям. А то, что это профессия настоящая, — ясно по Юрию Никулину, по Олегу Попову... Может быть, вы встретитесь с каким-нибудь клоуном, ведь ребятам интересно будет прочитать про него и про цирк. И спросите, где учат на клоунов?

Жора Сергеев,
Свердловск

...Большой розовощекий дядечка превратился в маленького ребенка. Да нет, не в прямом смысле. Он всего-навсего пытался надеть курточку — руку он пронес мимо рукава, вертел головой и, пока надевал, умудрился сделать множество самых невероятных дел: запрыгнуть на доску, поднять что-то с пола, поглядеть по сторонам, извлечь нечто неожиданное из кармана. Точно так, бестолково и рассеянно, одевается маленький ребенок... И вдруг курточка, растопырив рукава, взлетела вверх — привидение из «Карлсона», чучело на огороде! — и клоун ловко, на лету попал в нее руками. Как будто и не снимал!

Клоун должен быть отличным жонглером, прыгуном, или дрессировщиком, или акробатом — мало ли цирковых профессий. Удивляться тут нечему. Вот он показал трюк с надеванием курточки, летящей в воздухе, — и уже ясно, что на арене заправский цирковой артист. Но артистизм еще и в том, что вышла настоящая жизненная картинка, что зрители во взрослом дяде увидели малыша, нелепого, забавного, донельзя милого и смешного...

«На манеже все есть представление, то есть в большей или меньшей мере художественное воспроизведение жизни», — так писал знаме-

нитый цирковой актер Анатолий Дуров.

Мастерство мастерством, а все номера в цирке артисты стараются сделать маленьким спектаклем. Вспыльчивый дирижер и своевольный музыкант были героями веселой сценки «Маэстро сердится», которую показывал когда-то на манеже эксцентрик А. Геллер. Все тяже-лоатлеты испокон веков демонстрировали силу: гнули рельсы, разбивали камни, поднимали быка. А русский атлет Г. Новак свое цирковое искусство, свою силу преподнес в форме поучительной сценки «Урок», который он дает своим сыновьям...

А вот еще один «Урок», он ближе к нашим дням — кто же не видел, как четвероногие и мохнатые-хвостатые «школьники» умножают и делают на арене?.. А сценка «Прозаседавшиеся» Юрия Никулина и Михаила Шуйдина? А номер Олега Попова — когда его позаренок жонглировал кастрюлями и поварешками?..

Всякому цирковому актеру нужна тема, сюжет. А клоуну — тем более. Настоящие клоунские номера вводятся в цирковую программу не только для снятия напряжения зрителей, следящих за умопомрачительными трюками акробатов, воздушных гимнастов, каскадеров... Настоящий клоун в основу номера или репризы возьмет жизненное явление и откроет маленькую, но важную истину. Только очень наивный зритель думает, что он смеется над клоуном. Сам же клоун знает, что зритель смеется не над ним, а вместе с ним...

— Сергей, вот вы сами клоун, скажите, какой из номеров этого жанра вами наиболее высоко оценен?

— Охотно отвечу. Это номер большого мастера, его прекрасно все знают... Маленькому клоуну никак не разрешают сесть на стул — говорят: «Нельзя!» Много раз ему говорят: «Нельзя!!!» И вот он улучает момент, плюхается на стул и с удовлетворением говорит: «Льзя!» Это далеко не просто шутка... В этой

сценке есть серьезная философская подоплека, в ней — открытие своего маленького собственного права на большую справедливость; и клоун делает это открытие, он упивается счастьем оттого, что открыл для себя маленькую истину... А комизм придал глубокому смыслу ненавязчивую форму, легкую и непринужденную... Этот номер я считаю примером классической клоунады.

— Расскажите, где вы учились своей необычной и достаточно редкой профессии? А заодно вспомните свое детство... Каким вы были?

— Моя учительница отреагировала на то, что я стал клоуном, следующими словами: «Я так и знала!» В школе, если что-то откуда-то падало или лилось, билось, громыхало, если вдруг начинал двигаться скелет в биологическом кабинете, — всегда наказывали меня. Не выясняя, — потому что большего заводилы и хохмача не было... Почему-то считается, что все озорники и шалуны — троечники. А я был отличником. Очень любил читать, читал где попаало. Кое-кто до сих пор спрашивает: «А зачем это тебе, клоуну, надо?» Ан нет, это очень ценный багаж, потому что в нужный момент из него всегда всплывает то, что надо... Тем не менее образование мне пришлось заканчивать в вечерней школе. Я — коренной москвич. Хотел поступить после школы в институт кинематографии — не приняли. Работал почтальоном, лаборантом, фотографом, учился в медицинском училище. Потом опять попробовал «проникнуть» в искусство. Пошел в студию МХАТа — не взяли... В институте театрального искусства вроде сказали, что берут. И тут на глаза мне попало объявление, что Мосцирк ведет набор в студию клоунады. Я забрал документы из ГИТИСа и пошел туда. Учился в группе Карандаша. Очень богатая, но и тяжелая школа... В первый раз выступил в Пятигорске, в цирке шапито. На мне был короткий пиджачок и брючки, как у Карандаша, и шляпа, как у Никулина. Под Никулина я, кстати, работал долго — у нас школа одна, Юрий Никулин тоже учился

у Карандаша, и внешнее сходство у нас с ним есть. Только постепенно я нашел свой костюм, свой образ. Сейчас работаю в Союзгосцирке. Закончил еще и режиссерское отделение...

— Вы как клоун работаете один?

— Нет, есть партнеры. Солоклоунов очень мало — может быть, Енгибаров только был... Партнеры есть у Карандаша, у Никулина, Попова, Куклачева... Клоунада — это общение, конфликт, розыгрыш, столкновение характеров. Несмотря на внешний индивидуализм, наша профессия по крайней мере парная, если не коллективная.

— Мы знаем много комических актеров, они все не схожи... И клоуны — тоже: в Чаплине была грусть, какой-то печальный оптимизм, в Ильинском — заплотность, простоватость, в Бестере Китоне — элегантность... И клоунские персонажи во всем мире разные: Арлекин, Петрушка, Ганс, Пьеро, Макс... По вашей профессиональной терминологии, есть белый и рыжий клоуны... У каждого своя индивидуальность. К какому типу вы относите себя?

— Здесь многое зависит от внешности, она диктует амплуа. Мне с моим голосом и внешностью трудно, например, быть сентиментальным, я должен быть грубоватым, мешковатым...

— То есть очень близко к буквальному переводу английского слова клоун — «мужик, грубиян»?

— Да-а... А по характеру мне ближе всех наш русский Петрушка, его бесшабашность, безоглядность, открытость, дурашливость.

— Ваша профессиональная семья очень большая и древняя, ведь так? Балаганные клоуны, ковровые, русские скоморохи, королевские шуты — все они одинаково владели искусством смешить. Что в них разного, на ваш взгляд?

— Ну... королевские шуты родня разве что двоюродная... Интеллекта у них, наверно, было побольше, чем у наших скоморохов, но ведь они в основном веселили своих царственных хозяев. Современная западная клоунада, кстати, и сейчас больше работает на увеселение. Русские скоморохи были злее, и вообще нашей клоунаде присуще более сатирическое направление. Довести номер до гротеска, до абсурда — это надо, но ведь цель-то все-таки — истина, обличение, сатира... Цель-то серьезная должна быть.





— Даже в цирке?.. А если все зрители перестанут смеяться и вдруг задумаются, как на лекции?

— Это исключено! Клоуну необходима одна реакция — смех. Но смех тоже разный — это очень важно, над чем заставить зрителя смеяться. Если брюки с клоуна просто упали — это одно; если они упали, потому что он неловок или их плохо сшили — это другое... Между прочим природа смеха до сих пор не ясна. Однажды во время представления хохот вдруг раздался ни с того ни с сего и был так неожиданен для меня, что я чуть не уронил партнера... Есть инерция хохота, когда люди заражаются друг от друга. Есть смех, который подтверждает, что какая-то тонкость в твоей работе оценена особо... Все зависит от публики, от ее состава, настроения. В Австрии, например, зрителей

перед входом в некоторые балаганы раскрашивают, чтобы соответственно их настроить. А сдержанные финны, как ни странно, в цирке ведут себя куда раскованнее наших зрителей — чем это объяснить?

— А заранее вы можете предугадать реакцию зрителей — только увидев их, только выйдя на манеж?

— Иногда могу. Если много детей и видишь их горящие глазенки — это всегда вдохновляет... Во вторник и в среду работать трудно: люди настроены как-то по-деловому; ближе к выходным настроение другое — уже легче. Публика всегда разная... Цирк хоть и создан для праздника, но рассмешить в нем труднее, чем в театре или на эстраде. Иной раз встретишь прямо-таки «инспектирующий» взгляд: «Ну вот, я пришел, давай посмотрим, на что

ты годен...» «...Ну, давай посмотрим...» И я начинаю работать, пересиливать его настроение, расковырять... Поединок: зритель — клоун Макс...

— Сергей, свердловчане помнят вашу елку на манеже в программе «Новогодний переполюх» 1981 года. Теперь вы, как режиссер, показали с новой программой «Цирк на воде» и, как говорят, многое из реквизита и декораций сделали своими руками. В цирке приходится быть и слесарем, жестянщиком?..

— ...И костюмером, механиком, художником, кем угодно, если того требует замысел.

— А как замысел рождается?

— Как рождается?.. Лежишь ночью и придумываешь, вертишься с боку на бок — обозлишься сам на себя: бред какой-то в голову лезет... Утром встал — да нет, не совсем бред! Вот так, «из бреда», родился номер с пальмами. А где их взять, пальмы? А почему они обязательно должны быть зелеными? А не сделать ли их из фольги: подсветка, вода — так все заиграет! Где взять фольгу? Не попросить ли на табачной фабрике? Резать ее как?.. Выкройку надо делать, чтобы листья были в точности, как у пальмы... Вот так и рождается, и воплощается замысел.

— Что дальше будет с вашей программой «Цирк на воде»? Будут ли введены новые номера, какие?

— Идей много... Очень хочется ввести водные лыжи. Представляете, не классический манежный вариант па-де-де на лошади — а на водных лыжах! Очень заманчиво ввести новый жанр — плавающего жонглера. Иллюзион с дрессированными голубями, венские вальсы, гуцульские плоты, чукчанскую северную шутку, японский кораблик с обезьянками, африканцев с крокодилами... Что из этого будет — посмотрим. Идея есть — вода, которая связала все континенты, и путешествие по этой воде... Нравится?

— Много нравится. Кроме крокодилов...

— Ничего, у меня есть знакомые крокодилы.

— Я понимаю еще — слон... Вот как та слониха в «Судьбе клоуна» — она же играет, как актриса. Видели этот фильм?

— Оп-ля-ля! Не только видел, это мой самый любимый фильм!.. И слониху эту я лично знаю — даже фотография есть, с ее хоботом в об-



нимку стоим. Мы с Лидой познакомились в Ворошиловграде, когда там работал венгерский цирк. Она уже больная была, мы с дрессировщиком перевязывали ей ступни. Отлично Аида сыграла в этом фильме, и сам фильм прекрасный. Очень люблю этот фильм, и клоуна в нем.

— А книги у вас какие самые любимые? Хотя бы три назовите?

— Только три? Пожалуйста... «Маленький принц», «Конармия», «Мастер и Маргарита».

— «Маленький принц» — сказочность и доброта, нравственная чистота... «Конармия» — ум и юмор... «Мастер и Маргарита» — фантастичность, условность, любовь... Мне кажется, вы за то любите эти книги, что в них есть все, чем жив ваш любимый цирк и что требуется в профессии клоуна.

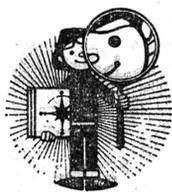
— Верно. Но добавить к этому еще надо техницизм, стиль, блеск, нерв, темп... Это не я сказал, это один хороший писатель перечислил... Но все это и есть цирк!

— Желаем вам удачи, Сергей. И как режиссеру, и как клоуну. Приезжайте к нам еще!

— Спасибо. Я люблю ваш город и люблю в него приезжать.

Беседу вела Н. ШИРОКОВА

Снимки Бориса Семавина



МИР НА ЛАДОНИ

Серьезное с курьезным



В редакции «Уральского следопыта» состоялась встреча с рижанином Леонидом Владимировичем Власовым. Участник Великой Отечественной войны, он в шестидесятилетнем возрасте, после тщательной подготовки, включающей продолжительные тренировки, начал велопешую «кругосветку» вдоль сухопутных рубежей СССР. Стартовал в крайней северо-западной точке, на побережье, где наша страна граничит с Норвегией. С тех пор — с сезона 1978 года — проехал на харьковской дорожной машине «Украина» (кнаилучший велосипед для подобных путешествий!) уже двадцать одну тысячу километров, до Тынды. Все необходимое в столь дальней и сложной дороге Л. В. Вла-

сов везет с собой — на переднем и заднем багажниках и на руле.

В нынешнем году, то есть за девятый сезон велокругосветки, он планирует побывать на Дальнем Востоке, Чукотке и на Сахалине, доведя счет велокилометрам до 30 тысяч.

На встрече с журналистами и школьниками Л. В. Власов рассказал о том, что успел повидать и пережить; он подчеркнул, что, хотя выбирает торные дороги, путешествует не просто в свое удовольствие. Одна из задач его велокругосветки — поиск и встречи с земляками боевых друзей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

На снимке: Л. В. Власов — в редакции.

Командир полка Александр Пушкин

Очень удивились жители поселка Пушкинские Горы Псковской области, когда сюда пришла посылка из Болгарии, из города Елена. В ней оказались книги по истории города, сувениры, имеющие прямое отношение к пушкинским местам.

Что же роднит землю, где жил и творил Александр Сергеевич Пушкин, с болгарским городом?

В русско-турецкой войне 1877—

1878 годов участвовал старший сын великого поэта Александр Александрович Пушкин. Он командовал полком, освобождавшим болгарскую землю, в том числе и город Елена.

За отвагу и мужество А. А. Пушкин был награжден золотой саблей с надписью: «За храбрость» и орденом св. Владимира IV степени с мечами и бантом.

Б. БОРИСОВ

Радий для революции

28 октября 1918 года из Москвы на Урал была отправлена телеграмма следующего содержания: «Пермь, Уралсовнархоз, копии Уралисполком, Усолье, заводоуправление Березниковского завода. Предписываю Березниковскому заводу немедленно начать работы по организации радиового завода согласно постановлению совнархоза. Необходимые средства отпущены Совнаркомом. Работы должны вестись под управлением и ответственностью инженера-химика Богоявленского, которому предлагаю оказать полное содействие. Предсовнаркома Ленин».

До последнего времени история этой телеграммы была не вполне ясной. И только сравнительно недавно обнаруженные в архивах документы позволили ответить на многие вопросы, восстановить ход событий, связанный с первыми шагами в Советской России новой науки — радиологии, проследить судьбы людей, живших в то время мыслями о будущем.

В начале 1918 года у частного акционерного общества были изъяты запасы руды, содержащей среди прочих элементов радий. Эту руду бывшие хозяева собирались отправить на переработку в Германию, но ее вывозу помешала начавшаяся первая мировая война. Радий уже в то время считался ценным стратегическим сырьем, хотя о подлинной его ценности и возможностях применения, известных сегодня, в ту пору и не догадывались. Тогда из него изготовлялись, например, светящиеся составы постоянного действия, которые применялись при изготовлении различных приборов для артиллерии, авиации и военно-морского флота. Дореволюционная Россия в этой области отставала от ведущих западных стран. По сути дела, она не имела радиевой промышленности, а научные исследования находились в самой зачаточной стадии.

На базе национализированной руды по инициативе известных ученых В. И. Вернадского и А. Е. Ферсмана Совнарком решил создать радиовый завод с экспериментальной лабораторией. Поначалу этот завод предполагалось строить в Петрограде. Но весной 1918 года город оказался на осадном положении, и возникла необходимость эвакуировать руду и оборудование в глубь России. Выбор пал на станцию Березники Пермской губернии. Не последнюю роль в этом сыграло то, что в

Березниках находился содовый завод, выпускающий необходимые реактивы.

В начале июля инженер Богоявленский прибыл в Березники и приступил к выполнению своих обязанностей. Однако работы проводились крайне медленно. Богоявленский вынужден был отправить в Москву тревожную телеграмму; тогда-то в ответ и была послана телеграмма за подписью В. И. Ленина. Она возымела мгновенное действие. Необходимая помощь была оказана.

Затем, в результате наступления Колчака, обстановка на Урале изменилась. Колчаковцы захватили Пермь и Березники. Л. Н. Богоявленскому и его товарищам в обстановке белого террора удалось спасти и сохранить ценную руду. После освобождения Березников от белогвардейцев руда была перевезена в другой район страны, и был получен первый советский радий.

Б. КАРАДЖЕВ

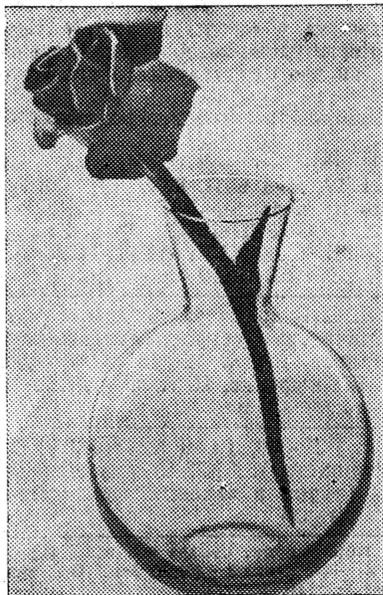
Черная роза

Может ли кузнец сказать своей работой: «Я обожаю вас?»

Может, если он — кузнец-художник!

Может, если он — Мастер!

Я убедился в этом, когда увидел черную розу, созданную Александром Лысяковым в собственной кузнице на одном из задворий ул. Р. Люксембург в Свердловске.



Роза выкована из цельного куска металла. Она словно только-только срезана с куста...

Сравнительно недавно Александр Лысяков был фотокорреспондентом «Уральского следопыта», был — без преувеличения — не просто энергичным репортером с камерой в руках, но — фотохудожником. Многие, очень многие его снимки, фотосерины радовали яркой поэтичностью, глубиной и свежестью мысли, тонкой техникой, причудливой игрой светотени.

А еще Александр писал картины, портреты, занимался резьбой по дереву. И все чисто художнические его произведения (часть их выставлена в редакции журнала и, похоже, обрела здесь постоянное «место жительства») тоже удивляли, задевали и останавливали своим своеобразием, какой-то тревожной философичностью, оптимистичной декоративностью.

Не говорю слова «вдруг», хотя Александр Лысяков фактически враз отошел от всего этого, чтобы полностью отдаться огневому делу. Это в его характере — основательном, решительном и хватком. Это в его натуре — широкой, но и горячей. Это как удар молота по наковальне. Это — «сказал — сделал».

Ему дважды пришлось начинать почти с нуля. Очень может статься, что он будет вынужден искать место для кузницы в третий раз. Но своего, уверен, Александр добьется — дойдет до намеченных вершин, скажет свое слово в одной из древнейших профессий человека.

Уверенность моя оттого, что Александр Лысяков не один — с со товарищами — разжигает горн и вздымает над наковальней молот. Не с подручным просто, а именно с со товарищами, которых в мастерской становится все больше, которые помогают творить и двигать работу все шире.

Удачи, кузнец!

В. СТАРИКОВ

Фото И. Горячева

Маэстро и рецидивист

Широко известно имя великого русского шахматиста, чемпиона мира Александра Александровича Алевина. Однако далеко не все знают, что в 1920 году он работал следователем Центро розыска, вносил свой вклад в дело борьбы с разгулом преступности. Вот один из эпизодов его работы.

Вошел как-то следователь Алевин в комнату дежурного и услы-

шал разговор между сотрудником и неким гражданином, который держался с вызовом; самоуверенно упирал на то, что документы у него недавно вытащили в трамвае, но он, Иван Тихонович Бодров, — честный мещанин, а не какой-нибудь жулик.

Увидев этого человека, Алевин удивился:

— Как, вы говорите, ваша фамилия? Бодров?

— Да, Бодров! А чем плохая фамилия? — отвечал не без нахальства задержанный.

— Никакой вы не Бодров, а Орлов! — сказал Алевин. — И зовут вас не Иваном Тихоновичем, а Иваном Тимофеевичем.

— На пушку берешь, начальник! Не на такого напал. Докажи, что я не Бодров!

Александр Александрович спокойно продолжал:

— И докажу. Два года назад я видел вас в военкомате. Там вы назвались Иваном Тимофеевичем Орловым. Как и другие граждане, вы готовились к медосмотру. На груди у вас висел на цепочке золотой крестик, под ним была родинка с гречишное зерно. Расстегните-ка рубашку!

Лже-Бодров остолбенел. Тогда дежурный расстегнул у него ворот рубашки, и все присутствующие увидели на его груди и золоченый крестик на цепочке, и небольшую родинку под ним. Задержанный действительно оказался Орловым, рецидивистом, бежавшим из мест заключения.

Вспоминая этот случай, известный журналист и судебный медик И. С. Семеновский утверждал, что людей, равных по памяти А. А. Алевину, он не встречал. Это подтверждает также и ветеран Московского уголовного розыска криминалист Л. П. Рассказов.

Е. ИЩЕНКО

В паучьем царстве

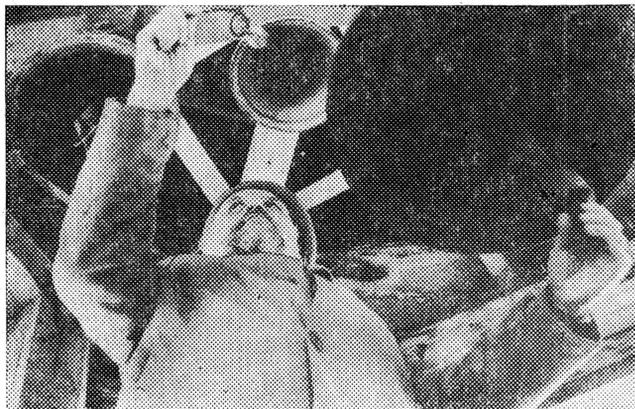
Ученые нашли в тропических районах вид пауков, которые, в отличие от всех своих собратьев, живут колониями. Эти пауки объединяются в компании до тысячи и более особей, чтобы плести одну ловчую сеть, достигающую по площади пяти квадратных метров.

В Англии, как только недавно открылся для исследователей парк королевской резиденции — Букингемского дворца, биологи обнаружили вид паука, который до сих пор на Британских островах не был известен.

Всего на земном шаре обитает около 21 тысячи видов пауков.



Зачем ЕРМАК СПОРТСМЕНУ?..



Битком набитый автобус натужно взбирался в гору. По гололеду даже тяжелые грузовики, с цепями на колесах, едва ползали вверх... И наш автобус остановился. Десятка четыре мальчишек и девчонок выскочили из автобуса и пошли пешком. Мне ничего не оставалось, как последовать за ними. Подъем был так крут, что я весьма неслестно подумал о своей физической подготовке — намного была она хуже, чем у юных спортсменов.

Наконец и я добрался — не до горного альпийского лагеря, а до спортшколы. Хлопнув дверями, ребята тут же кинулись рассматривать стенгазету; толком через голову я не разобрал — какая-то веселая абракадабра про снежного человека. И тут над головой раздалось многократно реверберированное «ку-ка-реку!», и ватага вмиг растворилась. Оказывается, эта штука кукарекает у них в школе каждый час... Неожиданности начинались...

Спортивная школа олимпийского резерва — что тут может быть неожиданного? Тренировки, сборы, соревнования, секунды, техника, разряды, призы... Да, все это и здесь есть. Но есть еще и уютный клуб с камином, книгами, играми, чайным столом, портретами писателей на стенах... Есть отреставрированная деревянная часовня, на которой бьют колокола и где расположен музей Ермака...

Тридцать два года назад директором горно-лыжной школы «Огонек» в городе Чусовом Пермской области стал Леонид Дмитриевич Постников. Если говорить о смысле жизни этого человека, я определил бы его так: он служит Мечте, мечте о гармонично развитом человеке.

Летом лучшие по итогам сезона ученики отправляются в походы, цель которых, кроме активного отдыха, изучение родного края. Каждый тренер ведет определенную тему. Всего тем шесть, начиная с... первобытно-общинного строя. Заключен у школы договор с Пермским педагогическим институтом, который осуществляет научное обеспечение. Так что существующий при школе

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

окончание повести Л. Юзефовича «Контрибуция», фантастическая повесть А. Андреева «Звезды последнего луча», ответы писателей-фантастов братьев Стругацких на вопросы читателей журнала, очередной тематический выпуск диалог-клуба «Подросток» — о голубях, голубятниках и проблемах голубеводства, путевой очерк А. Михайлова «Байкал — Балхаш».

Главный редактор С. Ф. МЕШАВКИН

Редколлегия: Е. Г. АНАНЬЕВ, В. П. АСТАФЬЕВ, М. ГАЛИ, В. П. КРАПИВИН, Ю. М. КУРОЧКИН, Д. Я. ЛИВШИЦ (заместитель гл. редактора), Н. Г. НИКОНОВ, А. П. ПОЛЯКОВ (зав. отделом краеведения), О. А. ПОСКРЕБЫШЕВ, Л. Г. РУМЯНЦЕВ (зав. отделом прозы и поэзии), А. К. СЕМЕРУН, К. В. СКВОРЦОВ, В. А. СТАРИКОВ (отв. секретарь), А. Н. СТРУГАЦКИЙ

Редакция: В. И. Бугров (отдел фантастики), Л. С. Будрина (технический редактор), В. В. Бурангулова (корректор), Л. Г. Гончарова (секретарь-машинистка), А. Д. Кононова (отдел писем), Ю. В. Липатников (отдел науки и техники), Е. И. Пинаев (художественный редактор), Ю. В. Шинкаренко, Н. А. Широкова (отдел публицистики и следопытской жизни)

Адрес редакции: 620219, г. Свердловск, ГСП-353, ул. 8 Марта, 22-в
Телефоны отделов: 51-55-56 (писем, публицистики), 51-22-40 (секретариат), 51-09-71 (фантастики, прозы и поэзии), 51-53-20 (науки и техники, следопытской жизни), 51-09-69 (краеведения)

Сдано в набор 08.12.86. Подписано к печати 26.01.87. НС 11018. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Высокая печать. Усл. печ. л. 8,82. Усл. кр.-отг. 11,34. Уч.-изд. л. 10,5. Тираж 407200 экз. (1-й завод: 1—250 000). Заказ 466. Цена 40 коп.



музей Ермака — лишь малая толика задуманного; предполагается создать историко-этнографический музей реки Чусовой и ее окрестностей.

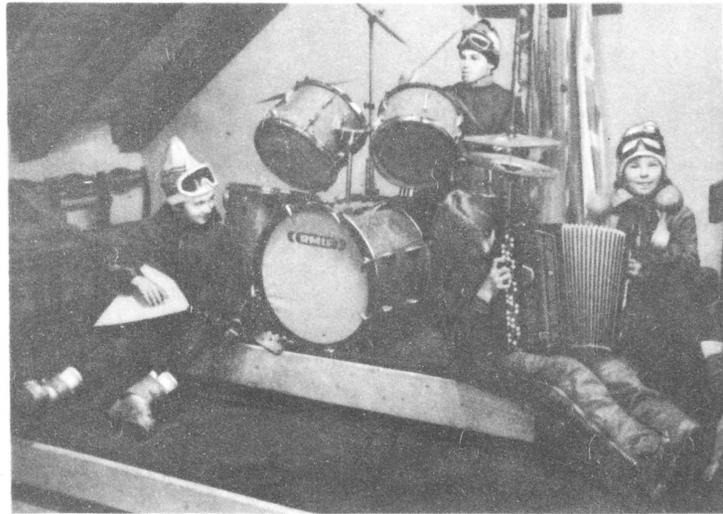
А что же спорт? Со спортом все в порядке. 550 ребят занимаются в школе и еще примерно столько же новичков. Кроме горнолыжного и санного спорта осваиваются и совсем новые виды — фристайл и натурбан. Кстати, Чусовская школа должна стать базой подготовки по этим новым видам.

Фристайл — что-то вроде балета на лыжах при спуске по специально подготовленной трассе. Не знаю, как себя чувствуют мальчишки, но даже смотреть со стороны, с какой страшной скоростью летят они по буграм — и то дух захватывает... Балет — это не преувеличение, поскольку есть и сальто, и сложные вращения с опорой на палки, прыжки, пируэты — и все это под музыку. Нечто подобное и натурбан — скоростной спуск на санях по естественным трассам.

Успехи школы внушительны. Василий Карпов и Сергей Ноговицын — чемпионы мира по санному спорту. Гульнар Постникова заняла четвертое место на Кубке Европы по горным лыжам. Пять человек входят в первую сборную страны.

Но вернемся к клубу и краеведению и попробуем понять — при чем здесь они? Леонид Дмитриевич Постников говорит, что и клуб, и краеведческие занятия выдумал не он, к этому привела жизнь. Современный спорт, с его сверхнагрузками и жестким расписанием, требует от человека многого уже в юном возрасте, и фундамент разностороннего развития только помогает обеспечивать это многое. Не говоря уже о том, что знание своей земли, края, в котором живешь, нужно каждому.

Постников многое сделал. И так же много еще не успел. Не успел, например, обзавестись собственным домом: живет с семьей в гостинице на территории школы... Зато его ребята-спортсмены могут играть в собственном оркестре, говорить о книгах в клубе у камина, слушать звон колоколов, и все знают про Ермака и про свою Чусовую...



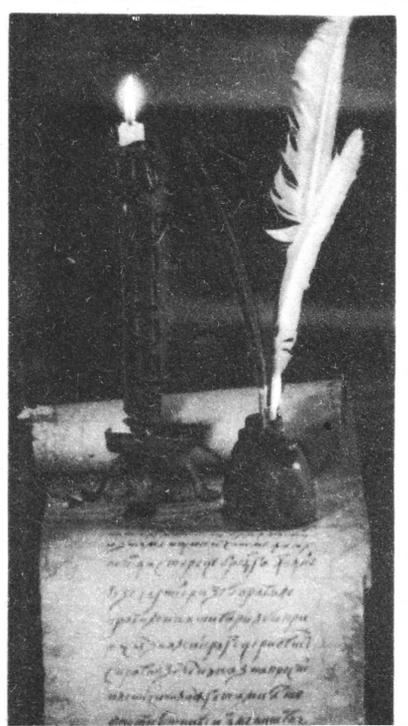
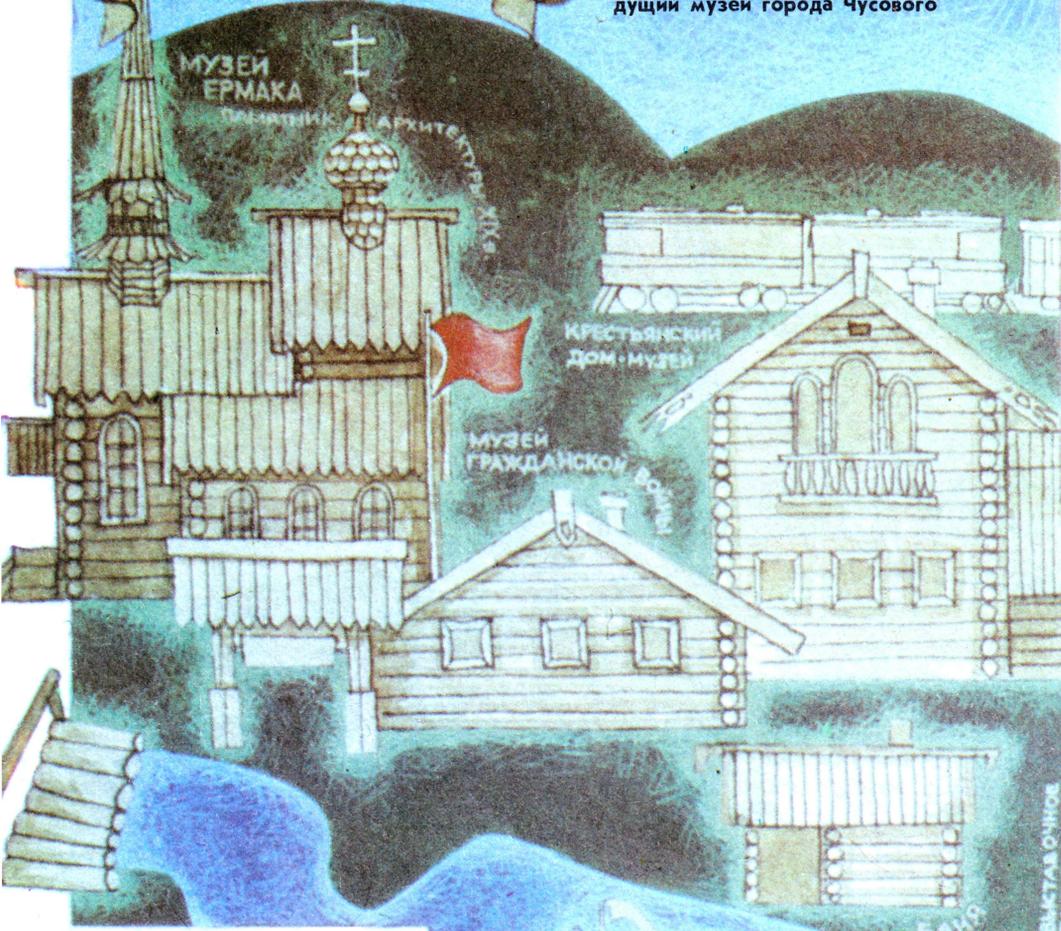
И. ГОРЯЧЕВ

Фото автора



**ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
МУЗЕИ
ИСТОРИИ реки ЧУСОВОЙ**

Таким представляется ребятам их будущий музей города Чусового



ЗАЧЕМ ЕРМАК СПОРТСМЕНУ?!

Читайте стр. 80

Цена 40 коп. Индекс 73413
Уральский СЛЕДОПЫТ, 1987, № 3, 1—347.